

Эльза-Баир Гучинова

**У каждого своя Сибирь.**

**Два рассказа о депортации калмыков**

### **Введение**

Тема депортации, появившись в публичном дискурсе в 1990-е гг., заинтересовала меня и профессионально, и граждански, я не упускала возможности поговорить при случае об этом со стариками, отслеживала газетные и научные публикации, политические акции. Но в полной мере антропологическую перспективу исследования депортации я почувствовала не сразу, а по мере роста научной компетентности и с принятием методов современной социальной антропологии. Стойкий научный интерес к этой проблеме у меня сформировался как раз тогда, когда я уехала из Калмыкии.

Два приведенных рассказа — это тексты интервью на тему депортации калмыков, собранные в Элисте в октябре 2004 г. Всего состоялось 20 интервью. Я ожидала, что особых проблем с кандидатурами для опроса не будет. Ведь казалось, что в расслабленной Элисте, где люди ходят с работы обедать домой, старики-пенсионеры свободны целый день и только и ждут гостей, чтобы

Эльза-Баир Мацаковна  
Гучинова  
Институт этнологии и  
антропологии РАН,  
Москва

поговорить. Но в первый же день, когда я, составив предварительный список, стала обзванивать знакомых, оказалось, что запланировать встречи не просто. Кто-то лежит в больнице, находится в профилактории или болеет дома, кто-то занят внуками или дачей, ходит на ветеранские встречи и на вечера бального танца. Никто не отказывался от разговора, но четко определиться со временем в соответствии с моим жестким графиком не всегда удавалось. Я планировала встретиться с первыми двадцатью калмыками соответствующего возраста, десятью мужчинами и десятью женщинами. Понимая важность такого фактора, как доверие, я решила, что для начала обращусь к своим знакомым, в основном родителям своих друзей и соседям по своему старому дому. Кого-то из них я знала хорошо, с кем-то ранее только здоровалась. Беседы проходили на дому, что позволяло многим попутно контролировать домашние дела, обратиться к семейному фотоальбому, выпить чаю, и создавало располагающую атмосферу. В большинстве случаев они впервые разговаривали со мной на равных, как с уже взрослым человеком. Они видели во мне одновременно и дочь своих знакомых, подругу или ровесницу своих детей, и научного сотрудника, «представляющего калмыков в большой академической науке». Для большинства из них это был первый опыт цельного рассказа о себе и своей депортационной жизни. Рассказы часто были эмоциональными, многие не могли сдерживать слез. В среднем интервью длились три часа чистого времени, но были и более короткие, и одна шестичасовая, в два приема записанная беседа.

Среди опрошенных было несколько человек, кто в своей творческой работе уже обращался к теме депортации. С ними биографическая тема дополнялась разговором о тех трудностях, которые им приходилось преодолеть, пробивая свое произведение в печать, о реакции властей, интеллигенции и широкой аудитории на них, о том, какое послание и кому заключалось в их работах. Писатели и журналисты иногда сомневались, делиться ли со мной интересным сюжетом, и все же рассказывали, потому что видели во мне коллегу, которая сможет оценить такой сюжет.

В своих интервью я ставила задачу записать рассказ о повседневной жизни калмыков в условиях выселения, о стратегиях физического и социального выживания, о том, как переживалась стигма исключенности из общества на этнической основе. Меня интересовал не только период депортации, но и все предыдущие годы: детство, школьные годы, период оккупации, как и возвращение на родину и встреча с ней, а также то, как менялся во времени комплекс чувств и мнений о депортации, ее причинах и последствиях у высланных людей.

В беседе на тему, связанную с исторической травмой, особенно важна фигура интервьюера, его возраст и опыт. Я отношусь к поколению, которое появилось сразу по возвращении из Сибири. Мы, первый на родине «приплод», росли, сознавая себя особенными, желанными детьми. Я закончила элистинскую школу в 1978 г. и о сибирском периоде жизни своих родителей имела более чем смутное представление. Мои собеседники рассказывали о своей жизни мне, при этом, возможно, адресуя нарратив своим детям. А я дорого бы отдала за уже невозможную беседу о том времени со своими родителями.

Мои родители, боевой офицер Мацак Гучинов и сталинская стипендиатка Астраханского пединститута Мария Бальзинова, были выселены вместе со своими семьями: мама — в Сургут, папа — в Новосибирскую область. Члены КПСС с военной поры, они никогда не обсуждали при мне, почему и как выселили калмыков, хотя нередко вспоминали жизнь в Сибири и тамошних друзей. Дома были сотни фотографий, сделанные в Куйбышеве отцом его «Зорким». Почему мама, учительница русского языка и литературы, в Сибири закончила медучилище и работала в больнице? Тогда я не задавала этот и другие вопросы, которые, хотя и не произносились, но повисали в моем сознании в ожидании разрешения. Отец ушел в иной мир, когда я была на втором курсе университета, мама — когда я была на четвертом курсе. Все свои незадаанные вопросы я адресуяю их ровесникам, чья юность и молодость пришлась на Сибирь.

Интервью было свободным. Перед началом записи я объясняла, что меня интересует жизнь респондента и его семьи в условиях депортации, что важны все детали, которые сохранились в памяти. Но просила начать рассказ с детства. Стараясь не мешать естественному течению рассказа, я задавала вопросы об опорных для сюжета событиях в тех случаях, если сами респонденты о них не вспоминали: помните ли Вы период оккупации, день Победы, смерть Сталина, как Вы узнали об указе о восстановлении автономии? Всем, даже хорошим рассказчикам, приходилось подсказывать вопросы, связанные с интимной сферой, например телесностью и гигиеной. В предлагаемом тексте мои вопросы сняты и приводится практически дословная запись устной прямой речи. В ходе беседы рассказчики, возвращаясь в эмоционально сложный период, прибегали не к официальным устоявшимся формулировкам, а к простым словам, которые только и уместны в частном искреннем разговоре, адресованном другим: молодому поколению калмыков, людям других сообществ, которые о судьбах депортированных никогда не слышали.

Все беседы велись на русском языке, но время от времени люди, того часто не замечая, переходили на калмыцкий язык и, так же не замечая, снова возвращались к русскому языку.

Понимая разницу в восприятии устного, письменного и опубликованного варианта одного и того же текста, я предоставила своим собеседникам возможность познакомиться с транскрипцией рассказов и внести свою правку. Я была рада уточнить имена и географические названия, но было жалко расставаться с некоторыми деталями, которые были сняты рассказчиками как неважные, особенно было жаль оговорок, которые красноречиво говорили о подлинных оценках событий.

Почему были выбраны именно эти интервью? Это были первые два транскрибированных текста, и они оказались во многом схожими: рассказы людей, высланных детьми, но сумевших получить не только среднее, но и высшее образование. Это женская и мужская истории, потому что гендерные различия в калмыцкой традиции и в советском обществе для женщин и для мужчин создавали разные возможности и разные преграды. За скобками интервью осталось продолжение биографий. Оба собеседника, ныне пенсионеры, сделали успешную карьеру в советский период. Роза Кирилловна Урхаева — заслуженный врач Республики Калмыкия, в трудовой книжке которой всего четыре записи: заведующий горздравотделом, главный врач детской больницы, замминистра здравоохранения Калмыцкой АССР, министр социального обеспечения. Павел Очкаевич Годаев, в прошлом директор издательства Обкома партии, — известный в республике публицист, составитель и редактор двух книг о депортации. И ныне они занимают активную общественную позицию. Я выражаю благодарность Р.К. Урхаевой (Чуматовой) и П.О. Годаеву, разрешившим в публикации оставить подлинные имена.

### **Р.К. Урхаева**

Я родилась в рабочем поселке Башанта, сейчас это город Городовиковск, Республика Калмыкия. В то время это был центр Западного улуса. В семье служащего. До войны папа работал в госсельхозснабе: сначала кладовщиком, а затем директором. Мама была домашней хозяйкой. В феврале 42-го папа добровольно ушел на фронт, воевал на передовой. Был командиром пулеметного взвода и прошел всю войну. Трижды был ранен, воевал на Брянщине. После третьего тяжелого ранения, уже в конце войны, после лечения в госпитале его отправили в тамбовское кавалерийское училище. Там он обучал молодых солдат кавалерийскому делу. Демобилизовался только в августе 45-го года. Участь тех наших калмыков, кото-

рые с передовой попали в Широлаг<sup>1</sup>, его не постигла. Он прослужил всю Великую Отечественную войну и нас нашел на севере страны.

Когда началась война, мне было 10 лет. Я училась во втором классе. Это было воскресенье. Мы были на празднике. В Башанте был клуб, и мы все: папа, мама, сестра, маленький братишка и я — пошли на праздник, где я должна была выступать со своим классом. Танец был «Красные маки», мы изображали красные маки, и вдруг все это прерывается, было уже к вечеру. Шум, гам, рев стоит. Потом все собрались на площади. Началась война.

Папа ушел на фронт 21 февраля 1942 г. Госсельхозснаб, видимо, был таким учреждением, где специалисты имели бронь. Наш папа сразу подал заявление в военкомат, однако его не сразу отправили на фронт. Мама готовилась к его уходу, сшила из холщевой ткани сумку для сухарей, напекла, засушила слобных сухарей. Мы спрашиваем: а можно нам попробовать? Она нам давала по одному сухарю и говорила, что больше нельзя, вдруг папа скоро уйдет на фронт. Папа не уходил, она допекла эти сухари, я помню, на месте, где висел холщовый мешок, осталось темное пятно от жира.

Когда папу взяли в армию, их обучали где-то в Котельниково, в Ростовской области, и мама с соседкой собирались ехать туда везти харчи, как говорила мама. Наш друг, сосед Ильцхаев Никифор Васильевич, инвалид, был председателем райисполкома, он отговорил маму, так как приближался фронт. Свидание не состоялось, а папа поехал на передовую.

Под оккупацией мы были шесть месяцев. Я хорошо помню, как каждая семья рыла окоп, траншеи. Нам говорили, что не все будут эвакуированы, что первыми будут вывозиться семьи коммунистов, членов правительства, что надо готовиться к оккупации, бояться не надо, что необходимо переждать, дожждаться, когда наши войска будут наступать и освободят. Мы рыли окопы: вход маленький, потом ров идет перпендикулярно, потом опять перпендикулярно и выход. И так всем показывали, как рыть траншеи, делать ступеньки и как перекрывать. В этой траншее мы должны были переждать бои. Так мы и сделали, но было очень страшно: гудели фашистские самолеты.

Мы жили на центральной улице. Когда отступали наши солдаты, шли по нашей улице. Пешие, запыленные. Мы, ребя-

---

<sup>1</sup> Весной 1944 г. калмыки рядового и сержантского состава были отозваны с фронта и направлены в трудовой лагерь Ширострой, который был назван в народе Широлаг. Офицеров направляли в Сибирь к семьям.

тишки, носили им воду, хлеб. Они на ходу пили воду. Женщины вглядывались в колонну, <пытаясь> увидеть своего мужа, брата, сына. Прошли последние воинские части, и тут как начало все трещать, гореть. Все текло, бежало. Оказывается, наши, уходя, подожгли элеватор, нефтебазу, заготшерсть, чтобы дорогие продукты не достались врагу, особенно горели и трещали склады со сливочным маслом — никто не подходил, не брал, хотя люди были голодные. Мародерства не было.

Потом стали наступать немцы. Август месяц, жара, пыль, в небе немецкие самолеты. Башанту не бомбили, но слышны вдалеке взрывы. Мы очень боялись, наша тетя Женя со своими детьми жила на другой улице, они переехали к нам, оставив свой дом, корову. Мы прятались в траншее, окопе. Как инструктировали, заранее положили запасы воды, хлеба. Это нам пригодилось...

Как мы жили в оккупации? Первыми появились мотоциклисты, заставили выйти нас из окопов. Наш большой дом выбрали для проживания офицера, нашу семью выгнали в сенцы. Мама вытащила перину, постель, и мы спали в сенцах под столом. Мы боялись даже нос сунуть в эти комнаты. При офицере был денщик, он забирал всю еду: молоко, яйца. Боялся, что отравят. А Володе пятый год, глаза большие, от голода желудочно-кишечное расстройство было, потом денщик его пожалел и делился с нами нашими же молоком и яйцами. Он спрашивал маму про мужа, она отвечала, что ничего не знает: писем нет, воюет, ты же тоже воюешь? Мама не боялась так с ним разговаривать, он плохо понимал по-русски. Немцы надолго не задерживались, одни приезжали, другие уезжали. Потом маму кто-то научил, чтобы немцев в доме не было, надо старшую дочку положить в постель, обмотать голову платком, намазать лицо красным и сказать, что она болеет, поставить рядом тазик, будто ее рвет. Мама говорила три слова: болеет, вши, тиф. Немцы поставили на своем языке табличку «карантин» перед домом, и стали обходить наш дом, а мы зажили, молоко, яйца ели сами. Скотину резать мы не имели права.

Когда немцы отступали, мама говорила: сюда ехали веселые, на гармошке играли, а теперь другие, плачут. Уже зима была, они кто в чем, ноги полотенцами завязаны, многие в женской одежде. Однажды около нашего дома остановился мотоциклист, заглох мотор и он говорит: матка, нам капут, все уехали, нас сейчас пух-пух сделают. А мама им в ответ: а вы как пух-пух делали? Ну, давай, заводи, езжай быстрее. Мама была бесстрашная, хотя этот диалог был опасным.

Вскоре наши воинские части перешли в наступление, это было под Новый год. Никто не спал. Все были в ожидании великой

радости. Постучались в дверь, говорят: свои! Ночью же темно, мама ответила: сейчас посмотрим, звездочки на шапках есть? В эти дни мы сами не очень-то хорошо жили, но мама приготовила, что было в запасе. Солдаты сказали: мы спать хотим, хозяйюшка. — Нет, вы поешьте, вот горячая еда, может, ноги свои помойте, — предложила им мама. Они съели кашу, лапшу и вповалку легли. Такой храп стоял и запах портянок... А мы не спали до утра, думали, как накормить таких близких, родных солдат. Они не пьют калмыцкий чай, а для русского чая нет сахара. Утром они принесли конину. Мама сказала им, что мясо хорошее, но его надо долго варить и нельзя кушать горячим. Видя нас голодными, говорят маме: сначала детей накормите. Мама плитку затопила, начала варить, а нам так хочется поесть. Мясо приготовила в большой кастрюле, посолила, с лучком. Мама сказала солдатам: кушайте, кушайте, может, и наш отец там где-то голодный. Связи с ним не было, хоть треугольник показали солдатам, но по номеру не определишь, где находится воинская часть. Они пожелали, чтобы он нас нашел.

28 декабря 1943 г. край Башанты заполнила колонна студебеккеров. Что такое, зачем они здесь? Может, через Башанту воинская часть передвигается? Ни у кого не было в мыслях, что на этих машинах калмыков вывезут в ссылку. Прошел слух, что калмыков, как изменников родины, будут выселять. Мама говорила солдатам, что наша семья к изменникам не относится, мы — семья фронтовика. Какие наивные были наши мамы... Маме соседка посоветовала зарубить курочек в дальнюю дорогу, но последнюю мама оставила, та должна была нести яйца. Она не верила до последнего. Дети не выдержали суматохи дня, уснули. В три часа ночи от страшного стука все проснулись, испугались и съежились. Мама спросила: Кто там? — Кто дома? Заходят. — Дети мои, трое! — Где муж? — Как «где»? На фронте. — Никого посторонних нет? Двое солдат остались, остальные ушли. Прочитали какой-то указ. Вас выселяют в Сибирь. — Какие мы изменники? Стала мама письма отца с фронта показывать, они посмотрели, говорят: у нас приказ, мы обязаны выполнять. Но тон смягчился. Солдат постарше говорит: не тратьте время, берите самые хорошие вещи, что вы плачете, вам же дали минуты. Дети сами не могут собраться. Соберите ценные вещи. Мама говорит: это брат? А это брат? Они стали вдвоем помогать укладывать вещи — самое добротное, ценное, теплое. Увидели шубу, мама ее дохой называла, она купила ее в Краснодаре за две коровы. — Это вещь дорогостоящая, возьмите шубу с собой. Эта шуба ваших детей спасет, но спрячьте ее подальше, чтобы в дороге никто не отобрал. Эта вещь вас спасет, может,

сами укрываться будете. И солдат сам несколькими простынями обернул, упаковал, потом сказал, что время истекло, надо выходить.

Соседка тетя Марфа, Косычиха — так ее все звали, муж ее работал счетоводом в одной конторе с папой, дочка Мария училась с нашей Елей в одном классе, прибежала, стоит у ворот, плачет: что же такое, что случилось? Пропустите, я хоть попрощаюсь. Оказалось, что никто не может зайти в наш дом и не может выйти из дома. А мама кричит по-русски: вот так! Видите, что заслужили наши мужья! Теперь мы изменники! — ее успокаивают, говорят, хватит. — Ну, что — хватит? Марфа, это несправедливо, такого не должно быть. Марфа, помни о нас!

Весь день собирали калмыцкие семьи в школе, 29 декабря ночью увезли в Сальск. Тетя Марфа сварила наших кур в эмалированном ведре, где-то раздобыла две буханки хлеба и окольными путями пробралась к нам в школу. Это было нашим спасением от голода в первые сутки. Мы вернулись спустя 13 лет на родину, но не нашли тетю Марфу, ее муж погиб на фронте, она умерла, дочь Марию тоже не нашли. Тогда многие русские семьи уехали. Косяковы были хорошими людьми.

Во время пути нас кормили один раз в сутки, давали горячее, бурду какую-то. А туалет? В полу вагона проббили дырочку, из чемоданов сделали заслон. На остановках все выходили и садились, никто не стеснялся, потому что надо было быстрее оправиться.

В нашем вагоне за время пути никто не умер. Как-то все перезнакомились, сдружились, на нарах разместили детей, взрослые на полу. Едой делились. Никто не замерз, все доехали, но как выносили трупы из других вагонов, видели через окошко. Мы смотрели вслед и плакали. Эшелон идет, а вдоль полотна лежат трупы: там, там, там. Во время коротких остановок быстро набирали воду.

Дети есть дети. Нам была так интересно, на поезде ехали в первый раз, хотя и в телячьем вагоне. Проезжая через Сызрань, наша Таня отстала, во второй раз побежала за кипятком и не успела сесть в вагон. Как мы все плакали! Как же так, потеряли Таню, говорим солдатам, а они отвечают: ничего, она догонит. Как догонит? Хорошо, что одета тепло. Через несколько суток опоздавших собирали, их, голодных, промерзших ругали, что должны были следить за временем, обвиняли в дезертирстве. Через двое суток Таня вернулась. Она была нашей кормилицей в поезде, нашей выручалочкой. Таня была



дочкой старшей маминой сестры, когда в 1921 г. переселяли нас с Урала<sup>1</sup>, ее мать умерла, и Таня воспитывалась в семье моих родителей.

Не помню, сколько ехали, наверное, 13–14 суток. Вагон наш отцепили на Сибирской магистрали. Мы попали на станцию Корниловка Омской области, от Омска где-то 45 км. Через 50 лет в 1993 году я уже добровольно доехала до этого места на «Поезде памяти»<sup>2</sup>.

На станции уже стояли салазки с тулупами. Каждую семью на одни салазки. Нас накрыли большими тулупами по самые глаза, а вокруг пурга, вьюга, сугробы. Для нас, детей, это было опять интересно! На санях по сугробам кто когда ездил? Любопытство детское брало верх. Глубоко внутри нам не было страшно. Интересно, куда мы едем? Мы приехали в село Богдановка, колхоз «Новый мир». Нас поселили в холодное, неотапливаемое помещение клуба. В этом клубе мы провели сутки. Нас пропустили через баню. Председатель колхоза расселял все семьи. Колхозникам в приказном порядке подселяли «калмыков — изменников Родины». Никто из них не хотел принимать калмыков. Они нас боялись, говорили, что людоедов везут, чертей с рогами, в общем, свои были сказки-при сказки. Председатель колхоза прихрамывал сам, привез нас в какой-то дом, говорит: встречай, Мефодий Иванович! Тот так затылок почесал, говорит: ну что же, теперь надо ваш приказ исполнять, время-то военное. Дед был уже пожилой, говорит нам: у нас лишних кроватей нет. В доме было чисто, уютно, тепло. Мама сразу по-русски стала говорить: мы вас понимаем, вам же сказали, везут чертей. Посмотрите, может, найдете рога у меня или моих детей? Мать никогда духом не терялась. Они удивляются, что по-русски говорит. А мама же детство на Урале, в Оренбуржье провела, среди русских. — Проходите. — Если мы не черти, то людоеды, что ли? Будем голодные, так, может, и вас съедим. — У вас сил не хватит нас съесть. Это у них такая перепалка была. — Конечно, наши зубы вас не возьмут. — Проходите, вот угол для вас. Мы зашли, руки-ноги помыли. Достали свои вещи: перина пуховая, одеяла пуховые красного атласа, подушки, наволочки такие красивые, вышитые, все чистое. Простыни, пододеяльники, по-

---

<sup>1</sup> После создания Калмыцкой автономии этнорегиональную группу оренбургских (уральских) калмыков, как и терских (кумских), переселили на территорию в то время Калмыцкой области.

<sup>2</sup> «Поезда памяти» — акции, организованные руководством Республики Калмыкия в 1993–2004 гг. Специальные составы посетили районы выселения с желающими навестить места молодости. Всего было организовано 5 поездов. В 1993 г. поезд шел под дозонгом «Калмыкия — с благодарностью сибирякам».

крывало — все как полагается. Не угол, а полкомнаты заняли. — Ничего, ничего — говорит дед Мефодий Солодовниченко, а сами спали: дед на кровати, бабушка на полатах. Они нас сразу чайком напоили. Чай, картошка и все. С первого дня подружались, может, знание русского языка, может, юмор сблизил. Мать потом говорит: если думаете, что изменники, то вот письма мужа с фронта. Бабка говорит: как тебя звать? — Клавдия Александровна. — Для нас ты будешь Клаша. Клаша, мы тебе верим. Тут соседи Царьковы прибежали, такие интеллигентные старики. Им же интересно было, кого подселили к их соседям. Говорят: они по-русски говорят, какие они чистые. Мы же одежду взяли самую лучшую. Младший братишка Вова был измучен долгим переездом, остались одни большие глаза. Они сразу: какой глазастый мальчонка! — А это любимец отца. Отец, уходя на фронт, говорил: что бы ни случилось, ты должна его сберечь. Он для меня все — моя жизнь, моя радость. Приболел он в дороге, понос у него был. — Мы его вылечим, не волнуйтесь. Мы сами его будем кормить. Что-то ему приносили. Вове стало лучше. А еда такая: картошка, хлеб, капуста. Так его и выходили. У Царьковых не было своих детей, стали его опекать, всю зиму его выхаживали. Вова к ним потянулся. Они все шутили: у нас нет детей, будешь нашим сыночком?

Бабушка Солодовниченко нам говорит: тут целая бочка кильки. Это мелкая соленая рыба, испокон веков у них заведено было рыбку солить. Целая бочка капусты стоит, они ее за еду не считали. Когда мама начинала варить, бабушка ей шепчет: бери, Клаша, зачем рыбу покупаешь, бери рыбу, бери капусту, картошку. Раз, и кинет в кастрюлю для нас что-нибудь из еды. Дед услышал и говорит: что шепчетесь, да бери, Клаша, всё. И ты, старуха, не жадничай, у тебя там целые бочки, ешьте.

А в других семьях не то, что продукты давать, к печке лишний раз не подпускали. Мама говорила: спасибо вам большое, но нас, голодных, никогда не накормить. Не нужно, вы сами не из богатых. Барахло мне надо поменять. Тогда мы купили бы картошку, продукты. — О, говорит дед Мефодий: эта станция далеко от нас, тебя одну туда не пустим, если кто-то на лошади поедет, тогда. А что ты хочешь, какое у тебя барахло? Мама достала красивую котиковую шубу. — Клаша, не надо тебя одну отпускать, ты что, тебя обманут. Цены нет этой шубе. — Эту шубу нам охрана посоветовала взять и сказала никому не показывать, что эта шуба нас спасет. Ну, что мы будем ваш хлеб кушать, лучше я ее поменяю. На санях поехали люди по своим делам и взяли маму. Мама привезла картошки и еще чего-то, поделилась с семьей своей сестры Жени. Так мы протянули холодную, голодную зиму 44-го года. Мама помо-

гала управляться со скотиной бабушке. Ее дети работали в Омске на заводе. Домой приезжали, боже мой, холодные, голодные. Бабушка всегда собирала им припасы. Так что когда они говорили маме брать продукты, мама отвечала: у вас самих иждивенцев много. И все равно бабка говорила: берите, ешьте... Эту кильку поначалу мы ели с удовольствием, а потом уже не хотелось. Нас удивляли большие бочки, такие маленькие рыбки — как их кушать? Деда с бабой научили нас: хвостик и головку оставь кошке, а остальное ешьте. Картошку пекли в печке, показывали, как из картошки делать вареники, делать картопляники. Так мы жили первое время в Корниловке.

Как мы нашли папу? Мы с Елей писали письма. Еля, как грамотный человек, подписывала на письме адрес: воинскую часть укажет, а на литер места не хватало, «ну и не надо», все равно дойдет — думали мы с ней. Мы так и отправляли все письма, обратно в Корниловку ответа нет. Однажды пришла наша родственница, она педагог, спросила: в чем дело, Клава, почему нет писем от Кирилла? — Не знаю, наверное, его убили, раз не отвечает, он же на передовой. Вон девчонки все пишут, а ответа нет. — Ну-ка, девчонки, покажите, а я сама подпишу. А мы ей говорим: как вы красиво пишете, у вас даже места хватило на эти буквы. — Какие буквы? — Мы на цифры место находим, а на буквы не хватает места. Она нас обняла, как заплакала: Клава, Кирилл будет писать письма, Кирилла найдем! Девочки, я вас не хочу ругать, мои хорошие. Вот что значит, грамоты нет! Да действительно, у меня два класса, у Ели — четыре незаконченных. Мы могли так потерять отца. Как бы он нашел нас в Сибири?

Весной 44-го калмыков ждали еще испытания. Истощенных, изможденных людей должны были выслать еще дальше на Север для обеспечения рабочей силой. Было правило: на одного работающего один иждивенец в семье. Чтобы его выполнить, нашей семье пришлось объединиться: у тети Жени два сына, мама, Таня, Еле исполнилось 15, она уже считалась рабочей, и мы с Вовой. Вышло четыре рабочих и четыре иждивенца. Пришлось собираться опять в путь. Всех нас вывезли сначала в Омск, потом на пароходе в Ханты-Мансийский национальный округ. Мама волновалась, плакала, говорила: зачем мы согласились, ехать так далеко, надо было остаться в колхозе. Наверное, нас всех потопят в дороге. Но нас не потопили, повезли по Иртышу, ссадили на пристани «Самара». Там нас разлучили с семьей тети Жени, они остались на лесопилке. Нас отправили на лесоучасток по заготовке дров для Самаринского рыбокомбината. Оказалось, это было спасением для нашей семьи.

Нас привезли в июне месяце 44-го года, кругом мошкара, комары, тайга. Куда ни посмотришь, везде огромные леса, дальше — большое озеро, это был приток Иртыша. Жуткая картина. Вова стал плакать, говорит маме: поехали домой, не хочу я здесь жить, меня сильно кусают мелкие, такие вредные. Поехали домой и всё. Все женщины плачут, жалко же детей. А куда — домой? Какой тебе дом? Начальник участка Козлов нам говорит: не надо плакать, женщины. Все будет хорошо. Сейчас мы обкурили ваш барак дымом, там комары все уничтожены. Вы сейчас будете отряхиваться и заходить. Вот полог. Так будете трясти, и заходить по одному. А потом вы комаров замечать перестанете. Не надо делать трагедию. Мы вам дадим марлевый полог на нары. Вы еще рады будете, что сюда попали, здесь для вас хорошие условия будут. Рыбой всевозможной вас кормить будем. Хлеб вам будем давать, масло, даже зимой батон лука будете получать. Деньги будете получать. Наши говорят: сказку нам обещают, сказочный мир нам рисуют. Зашли в барак, там действительно длинный стол накрыт. На столе ягоды, рыбы головы. Рыбы головы были большие, это были головы муксуна, стерляди. Ой, потом нам так надоело три раза в день рыбы головы кушать. Нам говорят: вы будете лес пилить на участке, веники делать, потом этот лес сплавлять будете, мы вас научим. Будете плоты строить, и на Самаринский рыбокомбинат возить лес. Вот это ваша основная работа.

— Мы никогда деревьев не видели, как к ним подходить? Дерево упадет, нас убьет. — Ничего, вам все бригадир расскажет. С какой стороны подходить, с какой стороны подпилить, когда ветрено. Научит, как сучья убрать, как потом пилить на какие размеры, как правильно укладывать. У вас будет норма, трудодень надо будет вырабатывать. Если неправильно сложите, придется заново переукладывать. Научат, как правильно основания сделать, как это будет наращиваться. Как правильно делянки прочищать, чтобы за вами хворост не оставался.

В общем, наши мамы, сестры стали лесорубами, пилили все вручную. Тогда же не было электропил. Ладно, летом, а зимой — по колено в снегу, норму же надо выполнять. Хорошо, что все женщины были молоды. А я лично была подсобной рабочей с Володей. Мне было 13 лет, я помогала взрослым, а Володя помогал мне. Мы носили дрова, топили печь. Когда рабочие шли на обед, мы знали по звуку на трассе: шли с песнями, кричали, шумели. Мы бежали, ставили большие чашки с рыбьими головами, резали хлеб, лук-батон бросали вдоль стола. Наливали бокалы, помогали поварихе, посуду мыли, одна-то она не успевала. Утром нас не будили, они сами обходились. Вечером снова на стол накрывали, а потом нас

уже жалели, рабочие убрали сами. Вот так с 44-го по 45-й год прожили.

Папа наш после войны в августе 45-го года демобилизовался, нашел нас, и пока не закончилась навигация — на Иртыше в сентябре-октябре застывает лед — он должен был вывезти нас.

Еле климат не пошел, она очень тяжело заболела в апреле 1945. Так жутко было ее везти на двуколке. Это два больших колеса, одна лошадь запряженная, два места. Мы с ней устроились сзади, кучер впереди. Отвезли ее в Ханты-Мансийск. Меня послали, чтобы я запомнила дорогу. Назад я по тайге 15 километров шла, и потом раз в неделю навещала ее. По лесу идешь, идешь. На плече мешок с продуктами. Хоть и весна была, зелень, птички поют, а все равно страшно, на душе мрачно. Боялась, это же глухомань. Я все время плакала в пути. Идешь пятнадцать километров и никого не встретишь. Шла полдня, за день успевала вернуться. Утром уйду и вечером вернусь. В первый раз пришла, вижу, Еля сидит на окошке, худая, постриженная. Я ее увидела, кричу: Еля! Еля! Она меня увидела, как начала плакать. Правда, персонал был сердобольный, говорят, что заходить нельзя, больница инфекционная, диагноз не установлен, можно разговаривать только через окно, открыли форточку. К ней меня не пустили, для меня это было отчаянием: я пришла за столько километров одна, не пустили, разговариваем через форточку. Я все передала. Весной вечером видно хорошо, но все равно боюсь идти обратно. Еля меня отправляет, говорит: «Иди домой быстрее, ты же бояться будешь», через 10 минут стала меня провожать. Я всего 15 минут, может, и была у нее, но надо было в обратный путь. Пришла домой. Рабочие уже отдыхали в бараке, после работы. Как сейчас помню, не могла слово сказать, плакала. Мама спрашивает: что с ней? Почему ты плачешь? — Сейчас-сейчас, я не буду плакать, а сама не могу ничего сказать. — Меня к ней не пустили. Все решили, что я из-за этого плакала. Успокоившись, рассказала маме, что жутко боялась, что Еля очень худенькая и ее постригли, что ничего не сказали, когда выпишут — кто будет разговаривать с ребенком, что санитарка не разрешила долго разговаривать у форточки, потому она могла простыть. Позже, при выписке, врачи сказали, что у нее была физическая перегрузка, истощение организма, неподходящий климат. А как можно менять климат, ведь мы спецпереселенцы? Нас по неволе привезли, мы не имеем права никуда ехать.

Папа, имея все документы, обратился в военкомат. Понимая его заслуги, его все равно поставили на спецучет, но покинуть Ханты-Мансийск помогли. Папа хотел уехать на Урал, мама предлагала вернуться в Кормиловку, все ближе и люди непло-

хия живут. На прощание в бараке родители организовали пир, всех угощали. Козлов выписал все для стола, т.к. папа прошел всю войну и здоровый вернулся. Так мы уехали оттуда. Я считаю, этот период жизни был неплохой, хоть и работали много, по крайней мере, мы не голодали. Кушали рыбу. Я потом говорила: «Мама, в рыбе же фосфор, и он помог мне учиться на „отлично“ в школе, в институте». Мама рыбу с тех пор не ела.

В Кормиловке папа сразу устроился на работу в МТС. Он столяр, и плотник, и каменщик, и печник, и сапожник. Ему дали комнату. Это было опять зимой, папа привез чай, конфеты, и мы опять встретились: Чуматовы, Солодовниченко, Царьковы. Это была великая радость, это было великое счастье.

В Кормиловке в 1946 г. у нас родился еще один братишка Саша, а в 1947 г. мы переехали в Калачинск, где жили до 1953 г., и все же переехали на Урал, когда папе разрешили. Училась я в Кормиловке, потом в Калачинске до 1952 г. В Башанте второй класс я не закончила, меня снова взяли во второй класс, да и перерыв был с 43-го по 45-й год. Начальную школу закончила на «отлично», у меня сохранились похвальные грамоты с портретами Ленина и Сталина. Ко мне все относились хорошо. Я любила свою школу, родители приходили на собрания, концерты. Вот был такой случай — меня как отличницу направили на первый пионерский слет в области. Радостная прибегаю домой и сообщая новость, что я одна от школы еду, десять человек от района направляются в Омск, смотрю, родители не реагируют. Они по-башкирски говорили, когда обсуждали секретные дела. — Что же делать, она на учете в комендатуре. Ее не пустят. Что делать? А мама говорит: ты сходи к соседу энкаведешнику, честно расскажи. Зачем ребенку праздник омрачать. Я не понимаю и твержу им: нам сказали всем, кто едет на слет, купить новый пионерский галстук, белую кофту, черную юбку. Галстук у меня был, но все остальное трудно было купить. Пошли искать, искали-искали: белой кофты нет, есть бежевая блузка, мама меня успокаивает, а я все твержу: белую же сказали. Один день прошел, другой. А папа в это время добивался моего разрешения на выезд. Мы купили желтоватую шелковую кофту и черную юбку. Вдруг папа приходит радостный — среди сопровождающих поедет один сотрудник комендатуры, одетый в гражданское, как будто учитель, дочка даже знать не будет. Я и не знала, радостная поехала на слет.

В первый раз я видела демонстрацию 7 ноября, аж голова закружилась. Впечатление было неизгладимое. Мы остановились на станции юннатов. А слет проходил в драмтеатре. Мы поехали организованно на регистрацию. Такое красивое зда-

ние. Широкая мраморная лестница. Я тогда что понимала? Иду, люблюсь, все так красиво, чисто. Вдруг, в углу, на площадке, огромный медведь стоит. Я кричу: Аю! (Ају) — медведь! А русские женщины не поняли, мне говорят: что ты? Он не живой, это чучело! Я дар речи потеряла, потому что всю жизнь боялась медведя, еще когда мы жили в тайге. Видимо, осталась доминанта. Потом я сама смеялась над собой, дома рассказывала по калмыцки: *Аюгас ээчкүв би. Ики гидг аю тенд зохсчана (Ajugas äächkүv bi. Iki gidg aju tend zogschana) — Я медведя испугалась. Большой такой медведь там стоял!* Потом мы ходили, танцевали. Подошел ко мне мальчик, спрашивал, как меня зовут, думал, что я казашка. Целую неделю жили там. В Омске жила наша Таня, работала на заводе. Домашние ей сообщили обо мне, она меня посетила, мы так хорошо встретились, но забрать меня к себе она не могла, мне нельзя было уходить. Это был первый областной слет пионеров.

Потом меня моя дочь Кема спрашивала: когда ты была пионеркой, что-нибудь было интересное? О-го-го, какая честь была создана для меня, спецпереселенки, ездить на слет в сопровождении работника комендатуры.

В школе я была лидером, группоргом. Меня все уважали, никто ни разу мне ничего обидного не говорил. К этому времени уже все знали, что мы, калмыки, — не изменники, не черти, не людоеды. В эти тяжелые годы все жили плохо, много работали, но родители понимали и все делали для того, чтобы я училась. Я одна училась в средней школе, потому что другие калмыки не имели возможности, всем надо было кормить семьи. Ребяточки все работали, пололи картошку, чистили снег. Как-то наш папа заболел. У него было после войны нервное истощение, и ему врачи запретили работать год. А кто семью кормить будет? Еля, Таня? Всё. Я говорю папе: пойду работать, буду снег чистить на железной дороге. Но он мне сказал: нет, доченька, не надо. Я выздоровлю, и врачи разрешат мне работать. Ученье — свет, неученье — тьма. Ты учишься, ты потом нам поможешь. Кто-то в семье должен быть грамотным. Даже не надо расстраиваться, папа у вас есть, вылечусь, буду работать, мы с голоду не умрем. Еля чистила снег на железной дороге, получала мало, полола картошку, была разнорабочей.

Ходил к нам одну зиму молодой человек, который считался сиротой. Отец ему говорил: ты приходи, не стесняйся. Если видишь — дым идет из трубы, значит Клавдия варит лапшу или что-то готовит, там и твоя доля есть. А он все говорил маме: как вы все быстро делаете? Я за вашими пальцами не услежу...

<sup>1</sup> Курсивом даны слова на калмыцком языке, через тире курсивом — их перевод по-русски.

Папа работал и после работы поденщиной занимался. Он был сапожником, в выходные печки клал, сибиряки благодарили, кто сало даст, кто муку. И стаж его не прерывался, и продукты в доме были.

В комсомол приняли меня как всех, вопросов о национальности не было. В 1952 г. я поехала в Омск сдавать документы в медицинский институт, в сопровождении, конечно. Документы у меня приняли, хотя многим калмыкам отказывали в поступлении в вузы. Может, я на калмычку не походила. Потом пришла телеграмма-приглашение на экзамены. Поселили нас, 500 человек, в спортивном зале, но дисциплина тоже была. У меня было белое холщовое платье с вышивкой, каждую ночь я его стирала, а утром раньше всех вставала, чтобы его погладить. Так и ходила в одном и том же белом платье, и про меня говорили «девушка в белом платье с косами». В нашей школе хорошо преподавали многие предметы, особенно физику, а ведь в учебниках не было раздела «электричество», но в билетах были вопросы: устройство звонка, утюга. Когда абитуриенты попросили, а я им рассказывала, мимо проходил председатель экзаменационной комиссии доктор филологических наук профессор С.Н. Ляпорский, до конца своих дней буду его благодарить. Этот мудрый человек преклонного возраста открыл мне дорогу в жизни. Он меня заприметил, что за нацменка хорошо по-русски говорит, да и еще физику объясняет. Потом он вел у нас латынь и называл меня Роза Рубрум, что означает «прекрасная Роза».

Первый экзамен был сочинение, я взяла свободную тему. До сих пор помню название темы: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Представляешь, 52-й год — не все было спокойно. Я хорошо раскрыла эту тему, ни одной грамматической, ни одной стилистической ошибки. Получила «отлично».

Следующий экзамен устный — русский язык, литература. Подготовилась, устные правила все раскрыла, написала. Елки-палки! А по литературе отрывок из поэмы «Медный всадник» — начало вылетело из головы. Профессор Ляпорский спрашивает: кто готов? Была моя очередь, пропускать нельзя. Смотрит в экзаменационный лист: Чуматова, у Вас «отлично!» Оказывается, он навел справки о моей успеваемости в школе, позвонил и убедился, что оценка заслуженная, а не случайная: а почему тогда нет медали? — Она у нас калмычка, спецпереселенка. К этому времени он все про меня уже знал, но делал вид, что ничего не знает. Я положила экзаменационный лист. — На все вопросы ответили? — Да! — А отрывок знаете? — Да. — Расскажите конец. — А я конец хорошо знала и выпалила.



— А теперь скажите, вы в семье которая? — Вторая. — Из какой семьи будете? — Из рабочей. — А кто по нации? — Я калмычка, спецпереселенка. — Ну а сочинение Вы сами написали? Смотрю ему в глаза: Да! — А почему выбрали свободную тему? — Она для меня очень проста. Парировала я ему, и ему это тоже понравилось, видишь, какие заковыристые вопросы задавал. — Ну что ж, «отлично»! Теперь я иду на физику, ну а там... меня уже знали. И химию тоже сдала на «отлично». У меня все оценки были «отлично».

Сказали всем разбежаться, потом письменно сообщат. Приезжаю домой. Ну, как? — Ждите ответа! Опять дома волнение, почти траур. А я в душе спокойная, и говорю им: ну я же поступила! Потом приходит телеграмма: зачислена в Омский медицинский институт им. М.И. Калинина, но без предоставления общежития. Пришел с работы папа, я ему рассказываю, так, мол, и так. Он говорит: поздравляю, дочка, а общежитие — ерунда, зачем там жить, на квартире даже лучше будет. И правильно папа рассудил.

Нам сказали приехать за пять дней до начала занятий, чтобы сдать зачет по плаванию. Тихий ужас! Я же плавать не могу. Нашу группу привезли на Иртыш, а я говорю: не полезу! Что я, утонуть, что ли, должна в этом Иртыше?! Сказали: за это могут отчислить. Я думала, это они узнали, что я плавать не могу, и специально хотят что-то «устроить», но оказалось, многие русские тоже не умели плавать. Позже нам провели собеседование, за год научили, и в следующее лето мы сдали зачет.

Латынь вел профессор Ляпорский. У меня была подруга Галя Торчикова. Как бы она ни отвечала, он всегда говорил: Торчикова, что это такое? Роза Рубрум, как надо? К доске! Мне было даже неудобно перед Галкой. Гале «посредственно», а мне «отлично». Короче, с его благословения, я поступила в институт, меня уважали, я была шесть лет старостой, и меня допустили на военную кафедру. В тот год, в 1952-й, ни один калмык в мединститут не поступил. Всем, кто хотел стать врачом, пришлось поступать в ветеринарный, сельскохозяйственный. А в педагогический, геодезический, медицинский ни одного калмыка не приняли. Я была исключением. Когда умер Сталин, мы все плакали, в большой аудитории было собрание. До пятого курса я не чувствовала себя ущемленной. Когда я сдавала экзамен по истории, преподаватель мне сказал: ну что же, вы, Чуматова, должны учиться на отлично. Я ему ответила: мы все должны учиться на отлично, мы же врачи. Нам жизнь детей доверят. Так я ответила на государственном экзамене, мне было так обидно за слова преподавателя.

В Омском мединституте оставался работать Джал Дарбакович

Орлов, он защитил там докторскую диссертацию по философии, потом мы встретились в Элисте на сессии депутатов горсовета. Он сообщил мне радостную новость: а вы знаете, ваша фотография вывешена в Омском мединституте на Доске почета выпускников! Потом из Омска приехала еще студентка с этой вестью.

Калмыки-студенты встречались каждый выходной. В те тяжелые годы мы вдвоем учились в медицинском — я и Аза Мамонова, которая поступила на год позже. Другие учились в ветеринарном, в сельхоз, в ремесленных училищах, техникумах — автодорожном, мукомольном. И нас с Азой всегда оповещали, и мы бежали как на большой праздник. И под добру песни пели, и танцевали, и в игры играли. Никто тогда не пил, не дебоширил. Отдыхали душой. По большим праздникам ребята иногда выпивали вино, девочки — нет. Летом была прелесть — встречи проходили в городском парке. Воскресенье — наш день. У нас был свой «пятак», там собирались студенты разных наций: татары, якуты, калмыки. Мы играли в «ручеек», в «третий лишний». У меня сохранились фотографии тех студенческих лет на фоне берез в парке.

Мы с Азой были приметны, потому что учились в мединституте, про нас даже песню сочинили: «Роза, Аза, Иркутская, 32...» На педиатрии учились только девушки. Мама мне давала такую установку: если учишься в мединституте, надо учиться. Пока не закончишь, о замужестве и не думай. В приказном порядке: замуж не вздумай! Азе, видимо, говорили то же самое. Мы на всех вечеринках пляшем, поем, а потом потихоньку засветло убегаем. Мы никакие надежды никому не подавали. Нас всегда Мазай провожал, он был наш верный друг, как младший братишка.

Как я узнала о реабилитации? Тогда все ждали, и мы знали, что готовится такой указ<sup>1</sup>. В марте 57-го собрали всех калмыков, кто жил в Омске, в зале заседаний санэпидстанции. Когда нам прочитали указ, все радовались, плакали. Радовались те, кто мог уехать сразу. А мы немного огорчились, потому что я училась на пятом курсе. В июне 1958-го я должна была закончить институт. И конечно, на меня был вызов. Представители Оргкомитета<sup>2</sup> знали про всех студентов. Я получила диплом и 2 июля 1958 г. начала работать в Калмыкии.

Вспоминая сейчас, я думаю, что эти годы были трудные. Когда я стала студенткой, я тоже ходила в комендатуру отмечаться

<sup>1</sup> Указ Президиума Верховного Совета РСФСР об образовании Калмыцкой автономной области в составе Ставропольского края от 9 января 1957 г.

<sup>2</sup> В 1956 г. был создан Оргкомитет по восстановлению Калмыцкой автономии.

раз в месяц. Когда мы снимали комнату, я сказала Азе: давай скажем хозяйке квартиры, что спецпереселенки, а то придут проверять, получится, что мы ее обманывали. Мы ей сказали: Марья Сергеевна, мы спецпереселенцы, мы будем ходить отмечаться, но и к Вам могут прийти и спросить, как мы ведем себя. Мы вам обещаем вести себя достойно. — Вы, девочки, не переживайте, это политическая ошибка. А если придут, я скажу.

Было очень унижительно ходить в комендатуру. Но что поделаешь? Я особенно волновалась, когда приехала в Омск. Вдруг не отметишься во время, обо мне узнают в деканате, ректорате. В сентябре 52-го я должна была найти комендатуру, но я не знала, когда отмечаться. Для каждого устанавливали определенное время. Мы сказали Марье Сергеевне, она объяснила, где находится комендатура, и что там можно узнать свои часы и дни. Мы пошли туда и нам назначили время отметки. Но ничего, я как ни приду туда, никого не видела. Я страшно переживала, особенно в первый год учебы.

Эти 13 лет были такие тяжелые. Ведь какие тяжелые последствия. Сколько у нас больных туберкулезом! Какой стал генофонд после всего этого холода, голода, унижения. Сейчас у нас, подростков того времени, у всех болят ноги, потому что, когда мы росли, не хватало витаминов, белков, одежды, обуви. У мамы болели руки, ноги. Она же до этого пилу в руках не держала, а должна была стоять по колено в снегу, выполнять норму. Благодаря ее духу она прожила до 92 лет. Еля умерла рано, потому что болела еще в Сибири. И так в каждой семье... Действительно, это было на грани того, чтоб погубить весь народ. А все-таки мы выдержали. Как детский врач, я скажу, какое потомство нам пришлось принимать и выхаживать. В 58-м я работала участковым врачом, у меня была целая «простыня» вызовов. Прихожу на 101-й квартал, люди жили в бараках, как жили! Если крыша над головой есть — то там семья. Жара неумолимая. Приехали, кушать нечего. У детей смешанные инфекции: скарлатина, корь, дифтерия, туберкулез. Отовсюду приезжают дети с родителями. А как рожали? Ослабленные матери рожали ослабленных детей.

Были вспышки многих инфекций. Телефонограмма пришла из Юстинского района в обком партии, идет мор среди детей по неизвестной причине. А педиатров в городе всего трое. Послали меня по санавиации спасать детей. Летели три часа, воздушные ямы, качка. Приземлились, сразу же пошла осматривать больных детей. В основном калмыцкие и казахские семьи. У детей сочетание инфекций: и корь, и дифтерия сразу, а у меня «пустые руки», на следующий день передали заявку

на медикаменты. Полтора месяца боролись с инфекциями. Когда я приехала в совхоз «Полынный» Юстинского района, 40-градусная жара, эту степь я никогда не видела, с Башантой не сравнить. Я думала, как можно жить среди таких барханов. Тихий ужас, куда я попала! С сибирской природой разве сравнить. То ли дело в Омске: в клинике современное оборудование, профессора, а здесь? Где-то в глухомани одна, попробуй ошибиться в диагностике, лечении.

В 1993 г. я поехала в Сибирь «Поездом памяти». Это было смешение всех чувств, больше печали, чем радости. В первую очередь мы посещали места захоронения наших калмыков, и часто их не находили. Мы совершали ритуалы, на самом деле не зная, где они погребены. Пусть не под этим кустом, пусть не под этой березкой, но где-то в этом районе наши калмыки остались навсегда. Совершив обряд поклонения, многие успокоили свои души. В Красноярске было 40 градусов мороза, и мы совершили поминальные ритуалы, мы не чувствовали холода, потому что все внимание сосредоточено на главном. Обедать нас повезли в ресторан, я села так, чтобы посмотреть на пароходы, на замерзающую реку, ко мне под села Раиса А. Слышу, она плачет, никак не может успокоиться. К ней под села корреспондент нашей газеты, я услышала ответы: ее мама похоронена в Красноярске, она не была на похоронах, ей было шесть лет, она не могла найти могилы, ее отдали в детский дом. Я попросила разрешения прервать интервью, дать человеку возможность прийти в себя. Человек переживает вновь свое горькое детство, как бы не время для репортажа. Конечно, в этом поезде было много слез...

### **П.О. Годаев**

Темой депортации я занимаюсь давно, потому что сам пережил, видел, как другие переживали, а по возвращении видел, как надо было людям заново адаптироваться в новых условиях. Даже для старшего поколения, привычного к здешней жизни, оказалось трудно адаптироваться, потому что подавляющая часть населенных пунктов отсутствовала, людям пришлось оседать в других, чужих местах. Видя все это и сам, переживая, я внутренне работал. Это находилось внутри, но не выплескивалось, потому что писать об этом было запрещено. Но разговоры никогда не затихали, они в семьях продолжались и мне самому неоднократно приходилось участвовать в обсуждении. В 1988 г. я впервые написал свои воспоминания. Тогда только-только стали делаться пробные шаги, было всего несколько публикаций в республиканской прессе: Кугультинов, Катущов и еще несколько человек. Я имел договоренность с тогдашним редактором «Советской Калмыкии» Юдиным Юрием Ивано-

вичем, он никакого отношения к покойной Юдиной<sup>1</sup> не имеет, просто однофамилец. Я тогда работал директором издательства обкома партии, и у меня были хорошие отношения с редакторами газет. Уходя в отпуск, я договорился с Юдиным, что напишу воспоминания, которые будут опубликованы. Когда я вернулся, воспоминания оказались большими для газетной площади. Я спросил: ты сколько строк дашь мне? 400 строк дашь? Я замахнулся почти на максимум. И сказал, о чем я написал. Он вдруг вспыхнул, говорит, ты сопляк был, какой там комендант тебя преследовал и прочее, что ты выдумываешь, брешешь. Я не стал реагировать, а просто решил, что надо поступить по-другому. Я решил найти документы, которые должны сохраниться в архивах КГБ. Я стал искать эти документы. Эту работу я закончил к 1992 г. В книгу «Мы — из высланных навечно»<sup>2</sup> я включил лишь отдельные документы из наших личных дел — моего и брата. Там никому ничего не надо доказывать, достаточно привести документы. Так я пришел к этой теме. Я издал книгу «Боль памяти»<sup>3</sup>, но о себе там ничего не писал. Я решил, что первую книгу я посвящу тому, что пережили другие.

Каждый человек вбирает от этой темы ровно столько, сколько она его трогает. Когда я заканчивал первую книгу, я написал в заключение, что мы сами, пережившие сибирскую ссылку, не осознаем до конца свою задачу и не осознаем до конца, что же с нами произошло. Что касается следующего поколения, к сожалению, даже многие представители интеллигенции, даже историки говорят, да что там, смотрят на эту историю сквозь пальцы. Такое явление как насильственная депортация целых народов — факт вопиющий. Я считаю: это надо знать, помнить и передавать другим поколениям. История народа складывается из всего, что приходится переживать. Иначе зачем все это изучать? Обе книги мне дались очень тяжело. Особенно тяжело было, когда я собирал материалы, связанные с переселением калмыков из Красноярского края летом 44-го года на Таймыр по Северному Ледовитому океану. Человек рассказывает лично пережитое, но кроме этого он размышляет. Человек рассказывает, потом замолкает, уходит в себя, видишь, у него слезы текут. Пришлось мои личные восприятия отстранить, что несколько обеднило текст. Я беседовал на калмыцком языке и записывал на калмыцком, переводил на русский, и на русском

---

<sup>1</sup> Лариса Юдина, главный редактор газеты «Советская Калмыкия», погибшая в 1998 г. в Элисте.

<sup>2</sup> *Годаев П.О.* Мы — из высланных навечно: Воспоминания депортированных калмыков. Элиста, 2003.

<sup>3</sup> *Годаев П.О.* Боль памяти. Элиста, 1999.

языке все обедняется. Я старался беседовать со старшими, у которых более цельное восприятие. Теперь на это смотрят чуть полегче, чем когда это переживалось. А сама суть пережитого сохраняется.

Мне в Сибири в школьные годы приходилось кое-что слышать об осведомителях, хоть и не часто, но заходил разговор. Из соседней деревни навевался в нашу деревню человек, он жил один, периодически нас навещал и беседовал с моими дядьями. Удивительно, но он никогда своего мнения не высказывал. На это обратил внимание мой дядя и как-то он высказался: *Акад кун, куундэд суусн биинь куунэ келсиг соңгсч, биинь сонгсч торюц юм келхш.* (*Akad kün, küündäd suusn biin' kүүnә kelsig songsch biin' sogsch törüts jum kelhsh*) — *Странный человек, сидит и слушает слова других, но сам своего мнения ни за что не скажет.* У моего отца было четыре брата. Младший был призван в самом начале войны и вернулся в 46-м. Остальные трое были в военизированном морском дивизионе, это те же красноармейцы. Поэтому у них восприятие выселения было свое, и когда они делились своим мнением, они хотели в ответ услышать мнение собеседника, но тот странным образом молчал. Сейчас я думаю, он был, видимо, из осведомителей, поэтому специально приходил, чтобы выслушать и куда следует доложить.

Осведомительство существовало во все времена, в том числе и в России. В советском обществе оно было усовершенствовано. Я много работал в архивах КГБ с уголовными делами по 58-й статье и могу сказать, что осведомители были и из числа калмыков, и из числа местного населения, даже в некоторых уголовных делах свидетелями выступали специалисты и руководители хозяйств. Осведомительство имело двойкий характер. Из «Книги памяти. Ссылка калмыков: как это было»<sup>1</sup> видно, что в феврале 44-го года местные сотрудники НКВД жаловались в Москву, что с прибывшими оказалось мало осведомителей, надо создавать осведомительскую сеть. То есть она была до нашего приезда и создавалась секретным образом. Но было и легальное осведомительство. Создавались десятидворки, и гласно осуществлялся принцип круговой поруки. Говорили прилюдно: вот, Бадма, ты отвечаешь за эти пять дворов, если кто будет агитировать к побегу или еще что, Бадма должен отреагировать. Люди знали, что Бадма за них отвечает и его нельзя подводить. Кроме того, среди них мог быть и негласный завербованный осведомитель. Я не воспринимаю, что калмыки предатели. Предатели нашлись среди всех. У нас

<sup>1</sup> Книга памяти. Ссылка калмыков: как это было: Сборник документов и материалов. Элиста, 1993. Т. 1. Книга 1.

тут казаки бряцают оружием и говорят, что их отличительная черта — патриотизм. 42-й год показал, какие они патриоты. В 42-м, когда наши под Сталинградом воевали, в Новочеркасске был созван казачий круг, где они присягнули Гитлеру, казачество Калмыкии там было представлено несколькими лицами.

Я уроженец села Эркн-Амн, родился в маленьком селе, нас там было примерно 50 семей. Мы все друг друга знали хорошо и были родственники между собой. Отец вскоре после моего рождения умер. У меня есть брат, на три года старше. После смерти отца мать осталась больная с нами двумя в своем доме. Мы жили компактно. Трое братьев отца были семейными, а один еще был холостой. Он отслужил, был на Халхин-голе, вернулся весной 41-го, перед войной. Я ходил в школу, у нас в селе была школа-четырёхлетка. Уроки велись исключительно по-калмыцки. Русский язык не преподавали. Я даже слова «здравствуйте» не знал. Село наше было сугубо калмыцкое. В соседнем селе полсела было русское, полсела калмыцкое. Там тетя моя родная жила.

Когда к нам утром пришли, я ничего не понял. Брату было 13 лет, и он уже по-русски понимал. Он как-то сбил ноги тесными туфлями и хорошо знал фразу «башмак мелкий, почто взял». Это был почти весь его багаж. Солдаты поселились у соседа напротив, а мы каждый день кто-нибудь туда кизяк носили. Кизяк летом был заготовлен. Мы с братом набрали каждый по торбочке и пошли. А там крутые ступеньки, по ним надо было взбираться, дом большой деревянный. Мы жили в неказистой мазанке. В нашем селе два дома всего деревянных было — у нашего соседа и у нашего *кюрэн ах (kürgn ah)* — мужа младшей сестры отца. И, когда мы принесли, у порога встали и хотели у печки оставить, один солдат стал что-то говорить и не пропускал. А потом другой что-то объяснил, мы кизяк поставили и ушли. А когда уже домой пошли, брат говорит, он сказал, что не нужен кизяк, зачем принесли, заберите домой. А второй сказал: им тоже не нужен будет. А наутро и случилось. Вечер был прохладный. В те годы зимы были отменные. Снег выпадал и подолгу лежал. А поскольку дни теплые, снег покрывался толстой верхней коркой льда. У нас фирновый лед был на снегу и буквально за два-три дня до выселения по такому снегу наш дядя Кётяря ушел к морю своим ходом на чунках, он был в военизированном морском дивизионе. Чунки — самодельные санки из досок с металлическими полозьями, лыжные палки в руках. Он по насту ехал как на коньках по льду до Каспийского моря, места лова. На момент выселения никого из дядей дома не было, все были на Каспии на ловле рыбы. В этом военизированном морском дивизионе из пяти тысяч подавляющее большинство составляли калмыки,

около 1200 — женщины. Поскольку многие рыбаки были призваны на фронт, их заменили женщинами. По Лаганскому району из 1200 рыбаков в 43-м г. после выселения калмыков на весенний лов в 44-м г. удалось собрать только 200 человек, это были русские и казахи. У дядей сохранились удостоверения этого дивизиона и им засчитали один год службы за два года трудового стажа. А остальная работа в колхозе в Сибири им не засчиталась для начисления пенсии. У рыбаков была 110-часовая программа военной подготовки. Зимой заготавливали лед на лето. Летом рыбу обрабатывали на море три плавбазы. Другую часть улова сдавали на береговые рыбозаводы или тут же солили в бочках. Каждый отряд дивизиона был прикреплен к конкретному рыбозаводу. Попадали они, бедные, осенью в стихийные бедствия. В ноябре 41-го случились ранние заморозки, было большое бедствие. Суда оказались в ледяном плену, были далеко от береговой полосы, и шторм выбросил их в сторону Дагестана, и они в течение нескольких недель не могли выйти на берег, сидели на мели холодные и голодные.

Мы жили с братом и матерью. У нас был общий двор с домами дядей. 28 декабря нас разбудил сильный стук в дверь. Накануне, когда мы с братом вернулись домой, мать сказала: надо *зул өргх* (*zul örgh*) — *лампаду зажечь*. Мама сделала лампадку из сырого теста, ее надели на конец шеста, при приоткрытой двери держали, и мать нашептывала молитву. Мы с братом стояли рядом с ней, замерзли, но послушаться боязно. Мать сказала — закон. Лампадка погасла, мы закрыли дверь. Потом легли спать. По темноте стук. А затем вдруг заскакивают двое. В полумраке люди не просматриваются. Мы около кровати. Мать спрашивает по-калмыцки, что случилось. Я помню это почти фотографически, то, что ощущал. Один здоровый молодой солдат вел себя безобразно, он принялся потрошить квартиру. Домик наш был маленький, из обмазанных камышитовых плит. Он стал опрокидывать то, что находилось в углах, рассматривать. Перед тем как лечь спать, мы обычно топили печку. Печь топили камышом. А камыш длинный, в сноп завязанный, и сноп сжигали. В печи была зола. Он не только шырял туда винтовкой, но еще и заглядывал в печку. Мы стоим, дрожим, и мать стоит, ничего не соображает. Солдат нас троих сгреб прикладом, отгеснил от кровати и стал заглядывать и шырять под кровать. Получается, он искал, не прячется ли какой бандит. А другой солдат, постарше, вел себя поспокойнее. Он нас записывал. Ничего нам не было сказано. Некоторые вспоминают, что зашли, сказали, что вас выселяют. Нам ничего не было сказано. После того как они ушли, мы покрутились дома, немного прибрали, стало светать. Мать



стала на улицу собираться. Когда вышли, оказалось, у дядей дома произведена подобная процедура. У выхода со двора стоял солдат, о котором я с огромной теплотой вспоминаю. Солдат, который нас практически спас от гибели в первые же сутки выселения. Он нам собрал все, что нужно. О том, что выселять будут, уже сказал офицер. Когда мы вышли во двор, пришли один офицер и совершенно незнакомый мужчина — калмык, не из нашего села. Он перевел слова офицера. Он сказал: *хальмгудыг нуульгжана. Тигяд селяна школ тал йовтн (halmgudyg nüül'gdjänä. Tigäd selänä shkol tal jovtn) — Калмыков переселяют. Идите в сторону сельской школы.* Постояли мы, потоптались, и мама говорит, ну раз сказали, туда надо идти, пошли. И мы, как были одеты наспех легко, так и пошли. А выход охранял солдат, он нас остановил и стал что-то говорить. Брат перевел матери, что нас повезут далеко, в холодные края, поэтому нам надо собрать вещи. Ну и солдат завел нас домой. А мы не знаем, что собирать. Тогда солдат брату сказал: давай то, давай это. И что удалось солдату нам собрать, то мы и взяли. Он еще сказал, пусть мать сварит покушать и взять с собой. Как подвода подойдет, я помогу вам погрузить вещи. В это время мать догадалась попросить. Тетка, ее сестра Халга, была замужем за братом отца, две сестры были замужем за двумя братьями. Она говорит, *чи гуугяд халя (chi güügäd halja) — ты сбегай, посмотри.* Солдат говорит, пусть идет, но в ее доме сейчас находится наш начальник. Когда я заскочил, там тетка стоит с ребенком на руках, в дальнем углу, и по-калмыцки кричит на него. А жили тетя с дядей хорошо, дядя был одним из лучших рыбаков Каспия, у них все было. Офицер все сгребает, из шифоньера достает и складывает. У них был большой кованный сундук, он двух солдат заставил вынести сундук. Я зашел тихо, так как офицер был занят этим делом. Потом, когда мы в 58-м году вернулись из Сибири, наш *кюргнах*, у которого был хороший дом, обнаружил, что тот офицер, который выселял его и мародерствовал, работает в районной милиции. Он его узнал и стал выслеживать. Тот тоже, видать, узнал и в течение недели уехал куда-то. Оказалось, он срочно уволился с работы и переехал в неизвестном направлении. Когда он все унес, что хотел, тетя вышла на улицу и присоединилась к нам. Мама чай сварила, к этому времени наверно часов 9 стало. Когда подвода пришла, тот же самый солдат помог погрузить вещи нам и другим тетям, потому что у тех дети были маленькие. Все мужчины на море, на четыре семьи самый старший из мужчин мой 13-летний брат. А у нас еще бабушка была, ей за 80 было. Она жила напротив нас, рядом с тем соседом, у которого жили солдаты. Я прибежал к бабушке, она в панике. Ну что она? У нее были припрятаны в сарае две бутылки топленого масла. Она мне говорит, полезь туда,

достань одну бутылку, а вторую оставь. Когда вернемся, пригодится. Я пролез как крот, сено раздвигаю, одну бутылку достал, а вторая там осталась. Когда подвода подошла, к нам присоединились пожилые старики-соседи, у них детей не было, только собака была, она осталась; всем обществом мы приехали к школе. Вещи сложили на арбу. А все население села уже было в сборе. Мы жили на краю села и пришли последними. Целый день мы толпились вокруг школы и во дворе ближнего дома и находились в оцеплении. Машины пришли по темноте. Мужчин с нами не было, кто — в армии, кто — в дивизионе морском, все были в море. Только ребята непризывного возраста несколько человек и старики, уже непригодные для выхода в море. Когда началась погрузка на машины, много было шуму, гаму, реву, крику. Мы сели организованно. Тетя Халга, мамина младшая сестра, была человек энергичный, проворный. Одна машина стала рядом с нами, наши вещи оставались на снегу. Тетя сразу сказала: *энд бидн суухм (and bidn suuht)* — *здесь мы сядем*, наши четыре семьи и старики-соседи, давайте. А некоторые не могли разобраться. Кто-то отнес вещи на одну машину, а другой член семьи отнес на другую машину. Потом солдаты торопились, покидали вещи куда попало. Примерно такая же картина была на станции. Нас выгрузили на снег. Потом я узнал, что это была не станция, а 8-й разъезд. А тогда на слуху была только станция Улан-хол. Поскольку мы приехали глубокой ночью, состава не было, железнодорожная линия была пустая. Из разговоров старших я знаю, что состав подали после полуночи. Но зато помню, что я, да и почти все те люди за редким исключением, никогда в жизни не были на вокзале, не видели поезда. Когда что-то громыхало, люди думали, что это *шуулм (shulm)* — *черт*. Тогда это было распространённое представление. Поэтому говорили: в зарослях щавельника черт водится. И ночью одинокий путник мог стать жертвой черта. Многие стали воспринимать приближение паровоза как черта — огни приближаются, что-то пыхтит. Люди стояли россыпью, кто-то близко к вагону, кто-то далеко. Почему-то нам сказали идти аж к началу состава. Это было довольно далеко. Хоть и вещи у нас маленькие, но тащить это надо было на себе. А кто тащить будет, я — шкет, вот такой махонький. Брату только 13. Но все равно, кто что мог, тот и тащил. Но этот наст, залежавшийся смерзшийся снег в одних случаях держал, а в других проваливался. Пока шли по целине, это был кошмар. Ногу ставишь, вроде держит, как вторую ногу отрываешь, проваливаешься. А снег-то тогда был глубокий. По крайней мере, для нас был выше колена. Нам еще надо было мать перетащить. Мать больная, разбитая лежала. Когда вещи дотащили, там насыпь оказалась очень высокой. Взбираться на насыпь, а потом подавать, а рельсы выше нас. Даже

брат-подросток не достает до пола вагона. Когда вещи подавали, сверток трудно было сразу подать, он падает назад, если тяжелый, кому на голову или куда. После того как вещи погрузили, надо было забрать мать, которая одна осталась лежать там, где вещи были выгружены. К этому времени все люди были в вагонах, она одна там осталась. А ориентироваться было невозможно, домов, деревьев нет, в открытой степи белым-бело. Только по следам, по которым народ шел. Поднять ее: она на своих ногах идти уже не могла. Наш сосед-старик со старухой взяли с собой новый *ширдык* (*shirdyk*) — *кошму*, и мы мать уложили на ширдык, укрыли и когда уходили из вагона, тетя Халга сообразила, что, может, мы мать поднять не сможем и придется тащить. Веревки, которыми были обвязаны вещи, она развязала, и мы мать привязали к ширдыку и волоком притащили.

Вагон сразу же закрыли и ехали, не помню, это было утром или к полудню, когда остановили. Поезд встал на станции в Астрахани. Короткая остановка и поезд снова пошел. Шел долго. Темнота, но на уровне вторых нар, чуть выше, было одно маленькое окошко. Кто оказывался на нарах, мог смотреть в окошко. Из него дуло очень и какое-то пространство вокруг него было на полке свободно. За водой бегали малыши вроде моего брата или меня. За едой ходили два человека. У нас в вагоне из взрослых мужчин оказались наши односельчане Сангаджиев Дава Мувич, он должен был быть на море, но в этот день почему-то оказался дома, и его брат Эльта. Они же и делили продукты. И продукты делили непропорционально. Эльта стал прогонять моего брата, когда он захотел немного погреться около железной буржуйки и прилег. А когда брат не подчинился, Эльта на него сел верхом и стал чуть ли не прыгать, говорить, ты тепла хочешь, сейчас я тебе сделаю тепло. Утихомирился только, когда тетя Халга на него прикрикнула.

На наше счастье поезд остановился в Аральске. Мы проснулись, поезд стоял на станции. Разрешили нам выходить, двери открыли. Вдруг подошел наш дядя Боктан и, не поднимаясь в вагон, спрашивает: наши тут едут? Просто искал нас на всякий случай. Ему говорят: твоя семья тут, залезай, им трудно. А он отвечает: не могу, нам сказали не разбегаться в дороге, а с семьями потом соединитесь. И жене говорит: Байла, *нег шилтә тосн бәәни? Нанд өгчкич нег шил тос* (*neg shiltä tosn bääni? Nand ögchkich neg shil tos*) — *у тебя есть бутылка топленого масла? Дай-ка мне одну бутылку*. Забирает бутылку масла, с тем и уходит. За ним следом пришли уже с вещами дядя Бадма, 1901 года рождения, и дядя Кётяря, 1904 года. Они узнали, что поезд идет с населением из нашего сельсовета, и с вещами шли вдоль

состава и искали нас. Спрашивают: Боктан приходил? — Пришел и ушел. — Ну, с него станется. Как они прибыли, жизнь в вагоне изменилась. Они стали сами ходить за водой, за едой и приносили ее больше и делили поровну. И Дава С. уже вел себя ниже травы, тише воды. Как ягненок. Вот так мы доехали до самой Сибири.

Как поезд останавливался, люди успевали выскочить. Женщины, бедные, на обратную сторону состава переходили, там справляли нужду. В вагоне была дыра в полу и абсолютная темнота, так что дело несколько упрощалось. В вагоне было не до умывания. Воду не плеснешь, если расплескаешь, тут же замерзало, сам скользить будешь. Вагон был буквально заиндевевший. Согривались, сидя абсолютно вплотную друг к другу. Я не помню сейчас, как удавалось вообще спать. Но мы где-то, кажется, на 12-е сутки приехали.

Станция называлась Чаны Новосибирской области. Оживленная станция, через которую проходит линия с запада на восток. Пассажирские поезда там не все останавливались. Нас встречали энкаведешники и сани. На конных санях со станции нас привезли в районный Дом культуры. Сюда привезли огромное количество людей. По крайней мере, не было места, чтобы пройти между людьми, нужно было переступать друг через друга. Мы оставались в этом клубе трое суток. За нами приехали в конце третьего дня. Мы поехали в деревню Добринка, это примерно 37 км от райцентра. Мы тронулись вечером и ехали ночью. Три семьи — дяди, бабушка и с нами две семьи наших родственников, отцовой сестры. Демчи, ее муж, сам был в морском дивизионе на море, и супруга выселялась с семьей без мужа. Детей у них было много, и девочки там были уже взрослые, лет по 14–17. И еще семья тоже без мужчин, без никого, родственники Демчи. Так мы оказались в деревне Добринка Чановского района.

Нас подселили к главному бухгалтеру колхоза Шерстюку Ивану Францевичу. Сам с Украины, он во время войны убежал от немцев и попал аж туда. В семье их было четверо. И мы до весны прожили в этой семье. Мы с братом и мамой, бабушка, наш дядя Кётяря с женой, тетей Халгой, и их сын — всего семеро. Мы жили в одной комнате, не было ни одной кровати, спали все на полу, а я спал на сибирской лавке. У сибиряков вместо стульев были лавочки вдоль стены шириной 30 см. Когда мы жили дома, у нас была большая деревянная кровать. Меня укладывали к стенке, потом брата, с края ложилась мать. Я мог через брата и мать перекатиться, упасть на пол и, не просыпаясь, спать на полу. А на доске в 30 см я умудрялся спать и не падал. Еды вообще не было. Колхоз особо помочь

не мог, это был один из бедных колхозов в Чановском районе. Дядя с тетей стали работать на нас, на семерых. И то тетя не могла каждый день на работу ходить из-за мальчика маленького, его одного бросать нельзя. Даже если бы и ходила, на семейный стол это ничего не давало.

Однажды ночью я вдруг запел. Я спал на лавке спиной к людям, лицом к стене. По калмыцкому обычаю петь ночью, да еще и в постели, считается дурным тоном. На меня старшие зацыкали. А бабушка вдруг говорит: вы чего ругаете, а сама спрашивает: а что ты запел? Я ответил: *гесн өлсэд, гуйр хээгэд* (*gesn ölsäd, guir häägäd*) — проголодался, хлеба хочется. А через день нам муки выдали по 3 кг. А картошку дядя уже разными способами добывал. Мог какую-то услугу оказать. А было кому. Хоть деревня была небольшая, но мужчин в деревне не было. Это была чисто польская деревня, поляки, переселенные еще в царское время, в конце XIX века. В 37–38 гг. всех мужчин поголовно арестовали, отправили и они не вернулись. Председатель колхоза был татарин Умаров, а из местных мужчин остался один-единственный мужчина Болбат Иосиф. Оказалось, что по его доносу всех забирали в этой деревне. Об этом я узнал от своих сверстников. Наши старшие, тетя и дядя, узнали после того, как сдружились с местными, но тогда об этом говорили тихо. А я в Сибирь в первый раз поехал в 64-м, второй раз в 92-м. В третий раз я там был в 2002 г. по приглашению нашей родной Чановской средней школы. Из всей этой школы мы с братом с комендантом воевали, чтобы учиться. Бились и учились. Комендант заставлял нашего дядю, чтобы он запретил нам учиться. А дядя говорил: как я могу запретить им учиться, они не мои дети, они мои племянники. Если у вас есть закон — запрещайте, а я им запретить не могу. Дядя наш сам был грамотным по ликбезу, в школе не учился, умел только читать, писать и расписываться. Но нам говорил: *йовадэти* (*iovadatn*) — идите.

И вот в 92-м году, когда я приехал в райцентр, я постоянно поддерживаю связь со своими друзьями по деревне, я остановился у своих друзей. Мы набились в машину и поехали на кладбище. В Сибири сразу после нашего приезда у нас умерли мама, бабушка, тетя Халга и трое двоюродных братишек. Поэтому первым делом мы поехали на кладбище. И мой друг Кобыляк первым делом подошел к одной запущенной могиле и стал пинать ограду. Говорит: Болбат тут похоронен, стал ругать его бранными словами и сказал: вот он всю деревню пересадил, в том числе моего отца. Реабилитационный процесс начался в 50-х, а бумагу он на отца получил только в 82-м г. Самого этого Болбата взяли самым последним, продержали несколько месяцев в тюрьме Новосибирска и отпустили.

С некоторыми мальчишками я подружился сразу. Они были без отцов, дружелюбные многие. Исключением был один Леня Рекуц, мы с ним закончили нашу начальную школу, потом учились в пятом классе. Он все время старался меня дернуть, ударить, а был здоровый, мощный. Говорил что-то обидное и постоянно придирался. Но я был сызмальства колючий, всегда сдачу давал, не поддавался. И за меня вступался такой же здоровый Бронислав Болбат, у него мать была латышка, а отец поляк. Отца тоже посадили, а мать его, тетя Марьяна, была очень хорошая женщина. И он всегда защищал меня в любой ситуации. Вот он как врежет, а тот отстает.

В первый год, в 44-м, дядю назначили пасти скот, колхозный и индивидуальный. Но одному пасти двойное стадо было очень трудно. А до него пас казах Макашев, такой старик, он сразу же бросил эту работу. Калмыки приехали, безработные. Дядю Костю назначили, видимо, в надежде, что он домашних будет мобилизовывать. И мы с братом до глубокой осени с ним пасли. О какой школе было думать? Ни одежды, ничего. Обувались в тот период так. Сыромятину резали скотскую и натягивали. А под это дело рванье, тряпье разное. Пока не стали добывать овечью шерсть, тогда уже носки вязали, и я сам научился вязать. Вырезался кусок кожи, из этой же сыромятины вырезали тонкую шкуру. Это калмыцкая обувь *буршм* (*burshm*), но я не помню, чтобы до выселения кто-то в такой обуви ходил.

Мы жили до весны в доме бухгалтера. Сын, почти наш сверстник, семья к нам относилась нормально. Он главный бухгалтер, один из руководителей колхоза, не мог позволить себе лишнего. Но престарелая мать бухгалтера относилась к нам холодно, в контакт с нашими старшими не вступала.

Война кончилась. Я никогда не спрашивал у старших, за что выселили, и с братом вдвоем мы не обсуждали. Но в 6–7 классах ко мне такие мысли стали приходить. Пожалуй, наиболее стойкое, что приходило в голову, возможно, навеянное разговорами старших, была надежда, *дян чилхля тегин тал гархм* (*dän chilhlä, tegin tal garhm*) — *когда война закончится, вернемся в стени* — надежда, что так будет до конца войны, война кончится, Сталин узнает и тогда все нормализуется.

Я и сейчас удивляюсь, как старые люди влезали в эти вагоны. *Урдаснь укч болшго* (*urdasn'ükchi bol'shgo*) — *раньше своего срока не умрешь*. Философия у стариков была такая — надо обязательно дожить до правды. Народная философия еще была выражена словами: живой от жизни добровольно не отрекается. Живой своей внутренней сутью, душой, внутренней мобилизацией. Одни ведь ложатся и беспомощно умирают, а дру-

гие — нет, карабкаются. Оказалось, очень сильна в нашем народе эта внутренняя сила. Поэтому я не могу согласиться с оскорбительными словами Солженицына. У него написано в «Архипелаге Гулаг»: калмыки не стояли, тоскливо вымидали и в скобках: впрочем, сам я не наблюдал. А калмыки тоскливо не вымидали. Я не принимаю такого обобщения, также и Сталин обобщал и судил весь народ по горстке людей, которых сам не наблюдал. По статистике калмыков-беглецов, совершавших побег в выселении, было больше чем чеченцев, а он там чеченцев превозносит. Чеченцы были расселены в Казахстане да еще по 300—400 семей, целыми селами. Для того чтобы их расселить, в Казахстане своих выселяли аулами. Калмыки же были расселены по несколько семей на целые деревни.

Я пошел в школу в третий класс, я на четыре года переростком закончил среднюю школу. Учителя ко мне нормально относились. Мне было трудно учиться только первый год, в третьем классе — по гуманитарным предметам. По математике я был силен, а гуманитарные дисциплины постепенно подтянул. Семилетку кончил круглым отличником. В седьмом классе писали изложение, и я был единственным, кто написал на 4/5.

Хотя меня лично особенно не обижали, я чувствовал общий статус всех калмыков. Приехали когда, в деревне все знали, что едут людоеды. Со мной классом ниже Маша Риттер, немка-девочка, училась. Когда я появлялся на улице в деревне, она оббегала за тридевять земель. Потом, чуть повзрослев, я спросил у нее: Маша, а что ты так пугалась? А как же, сказали, что везут людоедов. Казалось бы, немцев самих привезли в 41-м, а верили. Председатель колхоза периодически подчеркивал наше положение, над нашими дядьями старался силу свою показать.

На мое счастье, начальник спецхрана в Новосибирске капитан Цегельников оказался удивительно человечным человеком. Я в 92-м г. целенаправленно поехал туда, чтобы раздобыть свои документы, и ждал в очереди к начальнику управления, чтобы получить разрешение на ознакомление с документами. Его секретарша мне говорит: а какой у Вас вопрос? Вы лучше идите к начальнику спецхрана, там очень хороший человек. Я пришел 19 сентября, а он мне говорит: отовсюду идут запросы, потому что вышел закон о реабилитации репрессированных и политзаключенных, а я еще за апрель не ответил. И он повел меня в спецхран, принял мое заявление, и сказал: приходите во столько-то часов. Я, прежде всего, я посмотрел дела дядей. У одного дяди в деле лежит заявление председателя колхоза Ивана Францевича Рекуца коменданту Югову: такого-то числа Очкаев Боктан, калмык-спецпереселенец, меня обматерил при

свидетелях. Я этого простить не могу, прошу принять меры. Я расхохотался, потому что мой дядя никогда не матерился, а сам жалобщик из пяти слов употреблял три матершинных. Югов, надзиратель над калмыками, немцами и эстонцами, его в 48-м поставили, когда эстонцев привезли. Он бывший фронтовик, здоровый мужик, но добрый. Он отчитался, что приняты меры, проведена работа, а сам не наказывал. Но, если бы он направил дело дальше в район, участковому коменданту над несколькими деревнями Селиванову, тогда бы могло не поздоровиться.

В пионеры меня приняли в четвертом классе. Учеников мало, а хороших учеников и того меньше. В первую очередь принимали хорошистов. Я в третьем классе немного бултыхался, а в четвертом классе уже учился уверенно. Даже отличился на уроке пения. Учительница Пинегина Александра Ивановна заставляла всех петь сольно, чтобы четвертную оценку получить. Местные ребята были непослушные и вели себя вольно, а я всегда рос дисциплинированным. Когда меня подняли и сказали петь, а в третьем классе русских песен я не знал, я спел «Катюшу» на калмыцком языке. Как я запел, а пел я хорошо, этим я еще дома отличался. Дверь открылась и ученики, которые пришли во вторую смену, тоже стали заглядывать. Я устроил им маленький концерт.

С 52-го я стал расписываться в комендатуре. Потому что я стал писаться как с 36-го г., а так записался, когда еще мы дома жили. В 42-м г., когда немец взял Элисту и пошел на восток, была сильная паника. Слухи дошли до нашего маленького села на побережье моря, что немцы угоняют молодежь на неметчину. В селе все старались изменить свой возраст. Между домами бегали с мыслью как подтереть и исправить год рождения в свидетельстве. И тогда мне исправили на 36-й г. И в Сибири я стал расписываться в 52-м, с тех пор как мне по документам исполнилось 16 лет. Две мои двоюродные сестры писались с 36-го г., но обе были на один год старше меня. Их документы сохранились в архиве, они с 32-го года рождения, значит, я с 33-го года. Я стал расписываться, но комендант постоянно придирался ко мне. Когда я закончил шесть классов и на спецучете еще не состоял, председатель колхоза меня вызвал и стал принуждать работать в колхозе счетоводом. Я сказал, что готов работать на летних каникулах. Но летом меня поставили учетчиком полеводческой бригады. А учетчик полеводческой бригады — это уже большой начальник. После бригадира второй человек, и целая бригада тебе подчиняется, и ты им труд учитываешь, кто сколько выполнил, трудодни начисляешь, и все подаешь в колхозную контору. От меня они зависели крепко. Комендант стал меня принуждать и говорить: ты знаешь, кто ты такой, ты калмык-спецпереселенец, что я скажу,



то и будешь делать. А председатель колхоза мне объяснил, что меня пошлет на курсы счетоводов и я так и буду в колхозе работать счетоводом. Почему-то меня эта перспектива не прельстила, и дядя мне сказал: *эврян ухал (avrijan uhal) — думай сам.*

А я решил: буду учиться. И на этой почве у меня был конфликт и с председателем колхоза, и с комендантом. Когда я встал на спецучет, комендант контролировал каждый мой шаг. В архиве сохранился документ о двукратной проверке в месяц квартиры в райцентре, где я жил — на месте я или нет. Это обостряло наши отношения. В 9-м классе я два месяца приходил расписываться, он меня прогонял, а я снова приходил, но он не давал мне расписываться. И он составил на меня документ прокурору, что Годаев в сентябре-октябре не расписывался, расписался по приводу. Арест на 5 суток, 23 октября в 9 часов утра я был выпущен. Когда он стал меня арестовывать, он сказал, снимай комсомольский значок, снимай ремень, показывай, что у тебя в кармане, пойдешь в камеру. Я отказался подчиниться. И пока он обходил длинный стол и на ходу расстегивал кобуру, говорит: я тебе сейчас покажу. Я не знаю, что произошло, я тут же схватил стул, поднял его и пошел ему навстречу и точно так же матом, как он мне, сказал: я тебе башку проломлю. Он сразу развернулся и звонить дежурному: пришлите конвой. Так я попал на пять суток. Я стал с ним воевать и вышел победителем. На мою сторону встал начальник спецкомендатуры лейтенант Назаров. Он был гораздо умнее, образованнее и человечнее. Ну что издеваться над парнишкой — круглым сиротой. Назаров приходил на крупные районные соревнования. Он всегда приходил с женой. А я выступал за сборные команды школы по легкой атлетике, по лыжным гонкам, по жонглированию двухпудовыми гирями, будучи 50-килограммовым тошяком. Я с пятого класса занимался физкультурой. Он всегда ко мне подходил и говорил: имей в виду, Годаев, я же за тебя болею. Поэтому в первой своей книге я подчеркнул, что среди тех, кто проявлял благосклонность, были и должностные лица.

У меня было калмыцкое имя Гоога Эльта, усвоенное в нашем селе и в ближних селах. То, что я еще и Павел, знали только в школе. А в Сибири я был для всех Павлом, Пашей. А дядя Кётяря — стал Костей.

Я всегда ощущал, что в обществе я стою не на одной ступени с другими. Я закончил четырехлетку, потом записался в 5-й класс в селе за 20 км. Я не стал ходить в 5-й класс, потому что меня никто не хотел брать на постой. Это был осязаемый момент. Я остался в колхозе помогать дяде, он также работал

летом пастухом, зимой скотником. Я ему помогал управляться с животными, дома по хозяйству, не учился. Во втором полугодии к нам пришла учительница Каламис Анна Ивановна. Она из нашей деревни и с нового года стала учительницей работать. Она сказала: зачем Паше дома сидеть, пусть ходит в четвертый класс повторно, чтобы не забыть материал, а потом пойдет дальше. Я с января стал ходить снова в 4-й класс, и потом только мы с братом поехали в районный центр Чаны, уже за 37 км, он пошел в 9-й, а я в 5-й класс. Вначале мы жили на квартире у его одноклассника одну четверть. Потом нам отказали, и мы пошли в калмыцкую семью, она чуть-чуть наша родня. В 6-й класс я пошел учиться в соседнюю деревню соседнего района, было близко и туда пошли учиться человек 13 из нашей деревни. У них открыли семилетку, и там я закончил ее первый выпуск на круглое «отлично». Стал одним из двух первых комсомольцев семилетней школы. Имел возможность поступить без экзаменов в любое среднее учебное заведение. Даже в школьной газете, в которой я был редактором, я написал заметку, кем мечтаю стать — капитаном речного флота. В Новосибирске было речное училище, и почему-то я решил, что меня могут туда принять. Но с этой мечтой я распрощался. 8-й и 9-й класс я снова учился в Чановской средней школе. Вначале я жил в интернате, в райцентре был интернат на 40 мест, и мне досталось место, а в 10-м классе уже жил на частной квартире. Теперь меня взяли на частную квартиру с охотой, потому что я был уже взрослый и мог по хозяйству помогать. Деньги на жизнь я зарабатывал летом и зимой подрабатывал, начиная с пятого класса. Через нашу станцию Чаны всегда везли уголь с востока на запад — кузбасский антрацит. Поезда останавливались. Мы, несколько пацанов, группировались, шли туда. Как только начинал состав трогаться, мы взбирались на вагон. Если полувагон, просто платформа — хорошо, если большой вагон, хуже — высоко. Там или большие куски сбрасываешь, или в мешок набираешь и сбрасываешь. Соберешь — на горб, оттащил и припрятал, потом несколько ходок совершаешь — и к частникам, которые нуждаются. Мы сами знали, кому можно нести. Получали там иногда рублями, иногда продуктами. Так перебивались. А то шел пешком в деревню к дяде, оттуда приносил хлеб, молоко замороженное. Я всегда ходил пешком 37 км. Я ходил быстрее лошади. Бывали случаи, когда 37 км я проходил за три с половиной часа. Но это рекорд. Как-то я на ноябрьские каникулы собрался уходить, а остался без теплой обуви в тонких носках и летних туфлях. Если будешь просто идти, считай, что уже пропал. Вот тогда я этот рекорд установил. Часов личных у меня тогда не было, перед уходом посмотришь на часы и как придешь. Занятия у нас заканчивались в час, пока соберешься,

покушаешь, обычно я выходил почти в три. Когда я был старшеклассником, я умудрялся приходиться домой, ужинал и шел в клуб на танцы. Переночевал и утром назад. Без похвалы — танцор я был даже сценический, но любимый танец на всю жизнь у меня вальс. А так я могу любые танцы, русские, белорусские, гопак — все, что угодно.

Когда я закончил школу в 55-м г., было достаточно спокойно, с ежемесячного учета мы уже были сняты. Только, когда я получил паспорт, там была отметка: «разрешается передвигаться в пределах Новосибирской области». Поэтому я мог без разрешения комендатуры ехать, но только надо было, когда приедешь на место, стать на спецучет.

Почему-то одноклассники мои были уверены, что я стану историком. У нас была грамотная историчка Медведева, располагала к себе добрым, внимательным отношением, и я активно участвовал на уроках истории. Скорее всего, я должен был стать математиком. У нас в 8-м классе была учительница Евдокимова Зоя Григорьевна. Она жива и до сих пор, я ее вчера поздравлял с международным Днем учителя. Она была учитель от Бога. Один-единственный вопрос не подготовил я за три года, что учился у нее. Потому что ходил домой, попал в пургу, пропустил день и пришел в четверг. А когда она вызвала к доске, я не знал домашнего задания. Спустя полтора месяца она спросила: Паша, а ты что должен был? Я как стихотворение рассказал. У нее была такая тактика. Если ученик плохо ответил, она могла этот вопрос спросить через неделю, через две. Поэтому мы все ее уроки готовили исключительно. Кто был более-менее способен к математике, учились на «отлично», кто был средних способностей, учились твердо на четверки, а кто был неспособный, тот имел твердые тройки. Я поехал поступать в пединститут по следам брата.

Когда брат школу закончил в 51-м г., мы его в вуз украдкой отправляли. К счастью, тогда страх над нами не довлел, боязнь была, но страха не было. Он сдал все экзамены в инженерно-строительный институт, был принят, но отчислен прямо перед самым началом семестра, когда в спецчасти обнаружили, что он — калмык. Ему вернули экзаменационный лист и сказали: вы с вашими оценками можете поступить в любой вуз города. Из одиннадцати вузов, которые были в 51 г. в Новосибирске, он обошел все, но везде прием закончился, и его не брали. Последним вузом был пединститут, брат пришел к ректору, тогда им был Сеницын Иван Васильевич, положил на стол экзаменационный лист и объяснил. Сеницын посмотрел, послушал и сказал: молодой человек, вы можете поехать к тому директору, тогда ректоров называли директорами, и сказать: вы

мне не доверили строить уборные, а брат поступал на ПГС, а я вам доверил воспитывать молодое поколение. И с этими же словами по тем же оценкам он принял его на физико-математический факультет Новосибирского пединститута. При этом сказал: поскольку ты сирота, тебе будет трудно, поэтому я тебя зачислю на учительское отделение. Закончишь за два года, у тебя будет незаконченное высшее образование, и я тебя сразу без экзаменов зачислю на заочное отделение, и ты закончишь пединститут заочно. Хотя комиссия уже не функционировала, он собрал на следующий день комиссию по математике, чтобы она приняла второй экзамен по математике специально для брата. Так брат стал студентом.

Я очень хотел поступить в институт связи, был Электротехнический институт связи на улице Кирова, номер 56. В этом институте на первом курсе платили стипендию в 490 рублей, а в пединституте платили 220 рублей. Зная, что там надо знать хорошо математику, я хотел туда, и стипендия для меня была очень важна. Но, к сожалению, я побоялся, что может повториться история брата. И, поколебавшись, я решил податься в пединститут. Сдал первый экзамен по математике письменно. Прихожу, нет моей контрольной. Искал три раза, моей контрольной нет. Преподаватель тогда стал шуметь, сам переискал — нет. Как ваша фамилия? — Годаев. — Что же вы молчите, что вы Годаев, я же вашу контрольную отметил, специально забрал в свой портфель. Тут же мне поставил пятерку и за устный экзамен. Тут же он мне сказал: я вам две пятерки поставил, вы не смейте идти в группу физиков, будете учиться математике. Мне оставалось четыре экзамена. Когда абитуриентов делили, меня туда и записали, а я захотел пойти на физику. Девчата, наоборот, зачисленные на физику, многие хотели на математику. И я так с одной поменялся. В институте я первую сессию закончил с одной четверкой, а потом учился средне.

На физмате из калмыков курсом раньше училась Вера Арашова, Владимир Убушаев учился на историко-филологическом, Бурчугинова Любовь — на географическом. Время от времени калмыки собирались на празднования, мы все сбегались.

Еще до указа в газете «Правда» за 56-й, не то за 57-й г. я прочитал короткий рассказ ростовского писателя Виталия Закруткина «Подсолнух». Меня потрясло, что речь шла о калмыке Бадме. Я носился с этим рассказом, показывал всем ребятам в общежитии. Потом музыку калмыцкую услышал по радио, тоже носился по общежитию. Мы и сами были активными. Будучи студентом первого курса, в декабре 55-го г. я был одной из центральных фигур по написанию письма в ЦК КПСС по

поводу штампа в паспорте «Разрешается передвигаться в пределах Новосибирской области». Эту идею подал мой друг Мёнкубушаев Иван, студент строительного техникума, он был на пару лет старше меня и больше общался со старшими. Он принес эту идею, а написать текст, переписывать и доводить до кондиции должен был я. Я должен был встретиться с одним из комендантов городского района, калмыком Егоровым, и посоветоваться с ним. Он прочел письмо, молча посмотрел на меня пристально и, ни слова не сказав, отдал мне письмо, повернулся и ушел. Я потом стал понимать, что он боялся, а тогда я опешил и не мог понять. Как же так, я за советом обратился, а он ни слова не сказал. Письмо было о том, чтобы калмыкам-студентам снять ограничения на передвижение, что это нас ущемляет, морально угнетает.

У меня был однокурсник Саша Мосжерин, сын капитана речного флота. Он всегда опаздывал к началу первой лекции, потому что жил на другом берегу реки в Кривошеково, а в этот день было практическое занятие, он тем более мог опоздать. И вдруг он пришел чуть ли не раньше всех. Пришел, весь возбужденный, уши торчат, глаза горят, рот открыт. Мы удивились: Саша, да как ты? Он говорит: ребята, папа пришел вчера поздно домой. Им читали доклад, и, оказывается, Сталин был преступник. И ко мне. Паша, оказывается, вас, калмыков, неправильно выслали. Коротко, фрагментарно, запыхавшись, говорит: папе на работе читали доклад Хрущева, который он делал на XX съезде, и там он сказал, что столько людей наказывали и репрессировали неправильно, и все по вине Сталина. Группа как будто обомлела. Мы же Сталина боготворили. И вдруг такие слова. А я тем более ошалел — такое услышать. Я встал из-за парты и подошел к нему, говорю: Саша, скажи, ты же понимаешь, как мне это важно. — Правда! Это большой доклад, несколько часов им читали. Тут посыпали мои друзья, в первую очередь мой закадычный друг Саша Чернявский, стал меня тискать, между рядами таскать и поздравлять, девчонки стали подходить, особенно Нина Николаева, она такая чувственная была, так трепетно восприняла. И все подошли меня поздравлять.

Потом нам самим, студентам, этот доклад читали. Так что в марте месяце в 56-м г. я уже был готов.

Вернулся я в Калмыкию в 58-м г. на станцию Улан-хол. В первую ночь был сконфужен. Я прибыл на станцию Улан-хол из Новосибирска поездом с двумя пересадками, в Сызрани и в Астрахани, и по своей наивности думал, что это большая станция, тем более она сохранила свое название. Поезд пришел на станцию в 4 утра, лето, светло. Маленький домик,

крохотный — это оказался вокзал. А я-то в Новосибирске огромнейший вокзал знал, и у нас в Чанах вокзал был с рестораном, со всеми станционными службами. И когда в Улан-хале вокзал оказался как зерновой амбар в Сибири, я был сконфужен, но не разочарован.

Эти годы были пагубными, но не были напрасными, потому что через тринадцать лет народ прошел, сохранив свое достоинство. В этом отношении я с огромной благодарностью воспринимаю сочувственные слова Некрича<sup>1</sup>. Он с огромным внутренним теплом отозвался о калмыках, когда сказал, что достойно удивления, что калмыки через 14 лет вернулись в свои края, значительно потеряв свою численность, но сохранив свою цельность. Я высоко ставлю Олега Волкова за его теплое гуманистическое отношение к калмыцкой теме, в его романе «Погружение во тьму»<sup>2</sup> есть сюжет, связанный с калмычкой. С каким уважением он пишет, хотя конец этого сюжета трагический, но не то, что Солженицын. Это высказывание «калмыки не стояли, тоскливо вымирали» Солженицыну я простить не могу.

### Краткие комментарии

В данных текстах зафиксированы дискурсы, представленные четырьмя разными позициями: калмыками, имевшими личный опыт депортации, государством в лице комендантов, офицеров и солдат, локальным сообществом: соседями, учителями, одноклассниками — и комментарием говорящего в 2004 г.

Для этих воспоминаний характерно использование безличных глагольных форм, что говорит, что люди чувствовали себя частью коллективного репрессированного «Мы» с общим обвинением, общим наказанием, общей судьбой. Другое характерное качество нарративов — преобладающее использование пассивных грамматических конструкций: нас выселили, нас повезли, нам сказали. Как известно, язык несет в себе символический порядок общества, отражает его законы и нормы [Kristeva 1984: 47–48]. Даже вспоминая давнее прошлое, рассказчики подсознательно возвращались в то сталинское общество и воспроизводили свой зависимый статус людей, удел которых — претерпевать чужие действия, быть жертвой чужих решений. Этим подчеркивается зависимая, пассивная роль человека и этнической группы, их субъектность в социальной жизни того периода.

<sup>1</sup> Некрич А.М. Наказанные народы. Нью-Йорк, 1978.

<sup>2</sup> См.: Волков О. Последняя калмычка // Так это было. Национальные репрессии в СССР / Отв. ред. С. Алиева. М., 1993. Т. 2.

Часто помимо желания рассказчика язык проговаривает большее, жестче отражая реальность. Из приведенного текста была убрана оговорка: студбеккеры *окупировали* село. Речь идет о машинах, на которых вывозили калмыков. Значение этой оговорки в том, что машины использовались частями НКВД, которые видели в калмыках врагов, поэтому язык использует лексику, относящуюся к противнику. Также в рассказе проскользнуло, а из записи выпало: «он был не простой изменник», имелось в виду: он был не простой калмык, а фронтовик. Вместо «калмык» в подсознании выплыло «изменник», потому что рассказчик, возвращаясь к событиям тех лет, продолжает внутренний диалог с теми, кто считал: раз калмык, значит, изменник. Вероятно и другое: власть внедряла себя в людей, и, ослабленные ее силой, они принимали ее термины, поэтому рассказчик и вычеркивает эту фразу из текста, потому что он, бессознательно поддавшись власти, сознанием с нею не согласен.

Характерно, что слово «депортация» практически не используется в разговоре, поскольку это поздний термин, он появился в России применительно к массовым репрессиям на этнической основе в конце 1980-х гг. и не выстрадан, не выношен. К тому же он принадлежит публичной сфере, а разговор наш был приватный. В сознание людей прочно вошли другие слова: «ссылка», «высылка» и особо употребимое слово «выселение», отражающее не процесс, а статус репрессированного. Благодаря оттенку незавершенности, который присутствует в значениях слова, оно не столь драматично, а также это русское слово, оно ближе. Читатель заметит, как рассказчик стремится вообще уйти от терминов, используя почти эзопов язык.

Частый сюжет в обоих нарративах — благодарность «лучшим русским», сибирякам. В частном проявлении это естественная человеческая реакция за помощь в трудную минуту — конкретным людям за конкретную помощь, которая становилась символическим актом поддержки и сопереживания гораздо позже, когда работа сознания позволила увидеть реальность в терминах символа.

Репрессирующая повседневность в те годы стала нормой и часто как таковая практически не воспринималась сознанием. Повествуя о красноречивых фактах дискриминации, рассказчик часто уверен, что ущемленным он не был. Успехи в работе и личное благополучие на фоне тяжелой судьбы народа не позволяют человеку жаловаться на судьбу, а в случае наших собеседников тем более.

*Я ни в чем ущемленной не была. А ведь могли меня в комсомол не принять. Да ладно в комсомол, а как я в мединститут попадаю?*

*Это же 52 год. Я училась на «отлично». Я должна была с золотой медалью школу кончить, не знаю, давали тогда золотые медали в школах. По крайней мере, похвальную грамоту могли бы дать, ведь за начальную Кормиловскую школу дали же. Хотя я на «отлично» все закончила. Видимо, потому что я калмычка, потому что спецпереселенка. Мне в глаза не говорили, но на педсовете, видимо, так решили. [черновая запись]*

Оба собеседника хорошо чувствовали социальный контекст и даже через 60 лет — а в буддийском календаре это целый век — не поддавались романтизации или инструментализации депортационных трудностей. В их пространстве нарратива всем было трудно: калмыкам и русским, полякам и эстонцам, красноармейцам и солдатам вермахта. В оппозиции «мы—они» калмыки противостояли не советскому обществу, а бесчеловечной государственной системе и людям, слепо работавшим на эту систему, в том числе и калмыкам. Примеры того, как солдаты, направленные для репрессии, помогали тем, кого пришли наказывать, — частый сюжет при описании 28 декабря 1943 г. Хорошие солдаты символизировали советский народ, ведь народ и армия едины. Красноармейцев провожали и встречали как близких родственников, буквально переносили на солдат эмоции, адресованные близкой родне. Рассказчица назвала солдат, пришедших выселять ее семью, охраной, потому что солдаты своей помощью охранили их от многих бед. Плохой солдат олицетворяет тоталитарный режим в стране, являясь его орудием в борьбе со своим народом.

Обе биографии иллюстрируют стратегии калмыков, направленные на быструю интеграцию в новом обществе: они прилежно учились, кто не знал, быстро выучил русский язык, были лидерами, редакторами газет, группорами, спортсменами, танцевали все танцы. Но стигма калмыцкой этничности вынуждала приспосабливаться к доминирующим социальным условиям. И читатель увидит, как меняется такой этнический маркер, как личные имена. Калмыцкие имена принадлежат как бы старшему поколению и жизни до депортации. В Сибири Гоога Эльта становится Павлом, а Кётяря — Константином.

Калмыцкий язык появляется при описании частной сферы, особенно такой интимной, как домашняя религиозность, или других этнически окрашенных элементов культуры. Он незаменим при описании статуса репрессированных, который как бы понятен только калмыкам. Язык меняется на родной, когда надо сообщить что-то доверительное, по секрету, так, чтобы чужие не поняли.

Редуцировано использование терминов родства. Кроме термина *кюргн ах*, все остальные даются по-русски, хотя в пере-



воде они не так точно отражают более сложную бифуркатно-коллатеральную систему родства калмыков. Возможно, калмыцкие термины не использовались в полной мере, поскольку сам текст предназначался молодежи или людям другой культуры.

При описании незнакомой ситуации возникают классические в этнологии коннотации чистого как безопасного: в избе было чисто — и прием был хороший, какие они чистые — и соседи сразу подружились. При этом самым опасным местом, где умирали многие, предстает вагон, где было темно, нельзя было умыться, где в одних стенах люди ели, спали и ходили в туалет.

Невербализован, но незримо присутствует в рассказах расовый фактор, выделявший калмыков. Нетипичная внешность помогала в жизни: братишка понравился соседям, у него глаза были большие, и немец-денщик пожалел ребенка по той же причине. Однако иной фенотип позволял выигрышно выделиться среди других, если был позитивный фон: знания аби-туриентки стали приметными благодаря ее иной внешности.

В рассказах о том обществе присутствуют люди разных национальностей: татарин, поляк, немка, казах, эстонец, латышка. Их этническая принадлежность в каждом случае обозначается после упоминания имени, поскольку этнический фактор в сталинскую эпоху имел особое значение и во многом определял социальный статус человека.

Красной нитью повествований проходит идея ценности родственных уз. Без родни выжить было почти невозможно. Круглому сироте даже при наличии старшего брата и дядей гораздо труднее было выживать, чем девочке в полной семье. Парень, не имевший родни, так и считался всеми безродным или сиротой, словно это была его основная характеристика. А в дружной семье можно было распределять усилия: кто работает и помогает семье сейчас, а кто учится и поможет семье потом.

Мужской и женский рассказы показывают, что для женщины непосредственное окружение играло большую роль, а пресинг государственной машины воспринимался ею не так явно и болезненно, как мужчиной. Мужской рассказ сдержаннее и содержит больше пауз. Женский нарратив полон разных чувств, в первую очередь волнений, страха, он сопровождается слезами, но и смехом, который страх побеждает.

Традиционные для калмыцкого общества патриархатные отношения, безусловно, доминировали в те годы. Повествуя о жизни 1940-х и 1950-х гг., рассказчики невольно воспроизво-

дили и гендерный порядок, в котором мужчина принимал решения, отвечал за отношения семьи с внешним миром, главным пунктом которого в то время была комендатура. Правда, в его отсутствие женщина не терялась, работала на производстве и решала семейные проблемы. Но семья, у которой при выселении все мужчины были на море, представляется рассказчиком-мужчиной как «семья без никого». Действительно, мужчина в экстремальной ситуации имел больше власти благодаря физической силе. Как мы видели в рассказе, именно мужчины распределяли пищу и теплые места в вагоне, хотя в нем ехали люди и постарше, и толковее, но это были слабые женщины и старики.

Оба рассказа предоставляют материал о конструировании мужественности и женственности среди калмыков в то время. В мужском рассказе подчеркивается физическая сила, выносливость, смелость, защита чести: жонглировал гирями, проходил пешком 37 км, всегда давал сдачи, страх над нами не довлел. Женское подчеркивается элегантностью и аккуратностью в одежде: платье с вышивкой стиралось каждый день, строгость в отношениях со сверстниками, заботой о родственниках. Примечательно, что высшее образование для девушки и ее родителей стало важнее романтических чувств и создания семьи. Это были первые проявления стратегии, ориентированной в первую очередь на профессиональное образование и экономическую самостоятельность девушек. Преимущество такого подхода было доказано сибирской жизнью, в которой специалисты первыми находили работу и могли содержать свои семьи.

Оба рассказчика добивались жизненных успехов, не боясь преград, ставя трудновыполнимые и амбициозные задачи. Они не раз вступали в психологический поединок, если статус репрессированного противоречил свободе выбора, сдавая экзамен на право быть полноценным членом общества, оставаясь калмыком. Отдаваясь полностью работе, они стали высококлассными специалистами. Поэтому в тексте интервью зримо присутствует профессиональная идентичность. Повествование врача не только содержит медицинские термины, но и отражает врачебную этику. Опытный журналист хорошо помнит имена и даты, его устная речь не так спонтанна, да и характерные для мужчин паузы у профессионала слова были длиннее.

На уровне данных микроисторий показан масштаб государственного давления на отдельного человека и на весь калмыцкий народ, скрытое в практиках повседневности лишение свобод и стратегии сопротивления им. Как заметила Е. Ме-

щеркина, именно формы личного сопротивления насыщают содержанием микроисторию, поскольку знание о социально изобретенных стратегиях сопротивления тоталитарному режиму передается лишь изустно [Мещеркина 2004: 35]. Поэтому каждая устная история о депортации ценна сама по себе и содержит гораздо больше знания об истории России, чем может показаться на первый взгляд.

### **Библиография**

*Мещеркина Е.* Устная история и биография: женский взгляд // Устная история и биография: женский взгляд / Ред. и сост. Е. Мещеркина. М., 2004. С. 13–37.

*Kristeva J.* Revolution in Poetic Language. New York, 1984.